НАЗИРОВ АСГОР ШУХАТОВИЧ



ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА БЕЗ ДАРА

18+

Asror Nazirov

Целительница без дара

«Автор»
2026

Nazirov A.

Целительница без дара / A. Nazirov — «Автор», 2026

Вера Северцева — нейрохирург. Четыре тысячи операций и ни одной минуты на себя. Она умерла в ординаторской, не дописав протокол, — и очнулась в тюремной повозке, в теле осуждённой целительницы Элиры Таль. Приговор: убийство наследника престола. Дар выжжен. Ссылка — в Серый Кордон, крепость на краю мира, откуда не возвращаются.Здесь лечат возложением рук — и раненые гниют заживо. Здесь командует Райнар Хольт, опальный маршал, который скрывает от гарнизона, что у него отнимаются ноги. У неё нет магии. Зато есть нож, кипяток и пятнадцать лет у операционного стола.Плотницкий коловорот вместо трепана. Жжёнка вместо антисептика. И страшная догадка: целители не лечат гниль — они её кормят. Кому-то в столице нужно, чтобы Кордон кровоточил. И тот, кто убил принца, уже знает: целительница без дара видит слишком много.Попаданка-хирург, медицина против магии, придворный заговор и любовь, которой не страшны ни костёр, ни скальпель.

© Nazirov A., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ. Десять из десяти 6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СЕРЫЙ КОРДОН 9
Глава 1. Чужие руки 10
Глава 2. Дом, где умирают 16
Глава 3. Коловорот 22
Глава 4. Вода 28
Глава 5. Ночь, когда дышала Пустошь 34
Глава 6. Свиная кожа и чёрный камень 40
Глава 7. Зрячая 47
Конец ознакомительного фрагмента. 51

Asror Nazirov
Целительница без дара

Назиров Асрор Шухратович
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА БЕЗ ДАРА
Книга первая
Роман
2026

ПРОЛОГ. Десять из десяти

Мальчика привезли в четыре утра, в тот час, когда дежурный нейрохирург уже не человек, а функция.

Я помню его кроссовки. Странно, правда? Я не помню лица его матери, не помню, что говорил фельдшер, — а кроссовки помню: белые, с зелёными шнурками, один развязан. Шнурок волочился по линолеуму приёмного, пока каталку гнали к лифту, и я подумала: надо завязать, споткнётся. Мозг в четыре утра выдаёт удивительные вещи.

— Двенадцать лет, упал с гаража, — частил ординатор Паша, едва поспевая за мной. — Со слов матери, встал, сам дошёл до дома, жаловался на голову, лёг спать. Через три часа она не смогла его разбудить.

— Зрачки?

— Правый шире. На свет вяло.

— Пульс?

— Пятьдесят два.

Светлый промежуток. Классика, которую печатают в учебниках жирным шрифтом и которую всё равно пропускают, потому что ребёнок встал, отряхнулся и сказал: «Мам, всё нормально». А в это время под височной костью, из порванной артерии толщиной со спичку, толчками натекает кровь и отжимает мозг от черепа — тихо, аккуратно, по сорок миллилитров в час.

— В операционную. Без КТ.

— Вера Андреевна, протокол...

— Паша. — Я даже не обернулась. — Протокол писали для живых. Пока мы его прокатаем через томограф, у него вклинится ствол. Мойся.

За пятнадцать лет у стола я усвоила одну простую вещь: существует время, когда нужно думать, и время, когда нужно сверлить. Путать их нельзя.

*

Операционная в четыре утра — самое честное место на свете. Никто не изображает бодрость. Анестезиолог Гурам молча колдует над своими шприцами. Сестра Зина, с которой мы отстояли вместе, наверное, тысячи две операций, подаёт инструменты раньше, чем я успеваю открыть рот. За окном темно, и где-то там, в этой темноте, спит город, которому совершенно всё равно, вклинится ли ствол у мальчика с зелёными шнурками.

Разрез. Кость. Коловорот — нет, конечно, у нас давно электрический трепан, но я по старой памяти называю его коловоротом, как называл мой учитель, старик Левин, царствие ему небесное. Визг фрезы, запах костной пыли. Этот запах не спутаешь ни с чем — так пахнет палёный рог.

— Давление падает, — сказал Гурам без выражения.

— Знаю.

Костный лоскут откинулся, и я увидела её. Гематому. Тёмную, плотную, блестящую, как смородиновое желе. Она лежала на твёрдой мозговой оболочке так, словно всегда там была, и медленно, с достоинством убивала ребёнка.

— Отсос. Ложку.

Сгусток за сгустком. Под ними — оболочка, синеватая, напряжённая. И вот она вздрогнула. Раз. Другой. Запульсировала. Мозг, который три часа задыхался, расправлялся под моими пальцами, как лёгкое.

Я нашла артерию — она била тонкой алой струйкой прямо в очки, — прижгла, проверила, прижгла ещё раз.

— Давление сто на шестьдесят, — сказал Гурам. И, помолчав: — Пульс семьдесят. Вера, зрачок сужается.

Никто не аплодировал. В операционной не аплодируют. Зина просто подала мне иглодержатель чуть мягче, чем обычно, и это было громче любых оваций.

*

Шили мы с Пашей в четыре руки. Потом я вышла к матери. Я по-прежнему не помню её лица — только то, как она держала в руках тот самый кроссовок, с развязанным шнурком. Видимо, слетел по дороге.

— Он будет жить, — сказала я. — Мы успели. Ещё бы час — и я бы сейчас говорила с вами совсем по-другому.

Она не заплакала. Она как-то странно осела, будто из неё вынули кости, и стала завязывать шнурок на пустом кроссовке. Бантиком. Очень старательно.

Я постояла рядом. Таким вещам не учат на шестом курсе: что иногда лучшее, что можно сделать для человека, — это тридцать секунд постоять рядом и помолчать.

Потом я пошла в ординаторскую.

*

В ординаторской горела одна лампа и пахло вчерашним кофе. На диване валялся чей-то плед. На подоконнике умирал фикус, который мы всем отделением поливали по очереди и поэтому не поливал никто.

Мне было тридцать восемь лет. У меня была однокомнатная квартира в двадцати минутах от больницы, кот по имени Шунт, бывший муж Олег, который на прощание сказал: «Ты замужем за операционной, Вера, а я у тебя был любовником, и то по чётным числам», — и четыре тысячи двести операций в личном журнале. Последнюю я ещё не успела записать.

Я налила себе холодного кофе, села и стала заполнять протокол.

«Больной Т., 12 лет. Острая эпидуральная гематома правой височной области...»

На слове «области» ручка поехала вниз.

Сначала я подумала, что кто-то подошёл сзади и ударил меня по затылку. Честное слово, я даже обернулась. Никого. Лампа. Плед. Фикус.

А потом боль пришла целиком.

Знаете, мы спрашиваем пациентов: «Оцените боль по шкале от одного до десяти». И они мнутся, думают, говорят «ну, наверное, шесть». Так вот: десятку не обдумывают. Десятку узнают сразу. Это как если бы внутри черепа лопнула лампочка — вспышка, белая и беззвучная, и следом по затылку и шее разливается кипяток.

Я сидела очень прямо. Двигаться было нельзя — я это знала совершенно точно, знанием не врача, а животного.

Громоподобная головная боль. Внезапное начало. Ригидность затылка — проверь.

Я попыталась наклонить голову к груди. Шея не пустила.

Субарахноидальное кровоизлияние. Разрыв аневризмы. Вероятнее всего — передняя соединительная. Надо же, как интересно.

Мне действительно было интересно — вот что самое дикое. Пятнадцать лет я видела это снаружи: чужие снимки, чужие сосуды, чужие зрачки. Я клипировала сотни две аневризм. И ни разу, ни единого раза не подумала проверить собственную голову. Сапожник без сапог. Нейрохирург с бомбой в черепе.

Нужно было закричать. Паша ещё в оперблоке, сестринский пост — в пятнадцати метрах по коридору. Я открыла рот и обнаружила, что слов нет. Они были где-то рядом, я их почти видела, но достать не могла — как ключи, упавшие за подкладку.

Афазия. Значит, слева. Значит, уже отёк. Быстро.

Телефон лежал на столе, в тридцати сантиметрах от правой руки. Правая рука лежала на протоколе и была не моя.

Я смотрела на неё с холодным профессиональным любопытством. Хорошая рука. Четыре тысячи двести операций. Мелкая моторика, которой завидовали микрохирурги. Сейчас она не могла сдвинуться на тридцать сантиметров.

Вот тут мне наконец стало страшно. Не умирать — нет. Страшно стало от обиды. Потому что я знала, что надо делать. Я знала это лучше всех в этом здании, а может, и в этом городе: КТ, ангиография, операционная, клипса на шейку. Я бы справилась за три часа. Я бы себя спасла — если бы могла стоять у собственного стола.

Лампа над головой потускнела и разошлась на две.

Мальчик, подумала я. *Протокол не дописан. Паша допишет. Он толковый, только робкий, надо было чаще хвалить.*

Шунта заберёт соседка. У неё ключи.

Фикус жалко.

И потом, уже совсем издалека, последнее — не мысль даже, а что-то вроде жалобы, детской, несправедливой и совершенно бесполезной:

Я же ничего не успела. Я только работала. Я думала, жить буду потом.

Свет сузился в точку. Точка подумала и погасла.

*

Я хирург. Я не верю в тоннели, свет и голоса усопших родственников. Гипоксия зрительной коры — вот вам и тоннель. Выброс эндорфинов — вот вам и благодать.

Поэтому то, что случилось дальше, я описываю так, как привыкла описывать всё остальное: сухо, по порядку, без выводов.

Темнота не была пустой. В ней что-то тянулось — множество нитей, тонких, как паутина на просвет, и все они шли куда-то в одну сторону, и меня несло вдоль них, как лист по течению.

Потом одна из нитей оборвалась. Я это не увидела — услышала. Тонкий звук, как лопнувшая струна. И кто-то — молодой, женский, насмерть перепуганный голос — сказал совсем рядом, сказал не мне, а кому-то, кого ненавидел:

— Я видела, что вы сделали. Я всё видела.

И другой голос, мягкий, старческий, почти ласковый, ответил:

— Вот поэтому, девочка моя, ты больше ничего не увидишь.

Вспышка. Крик. Запах палёного — не кости, чего-то другого.

А потом течение вынесло меня в оборванную нить, как в открытую дверь, и последнее, что я успела подумать, было абсолютно нелепым, абсолютно в моём духе и, как выяснилось позже, пророческим:

Протокол-то я так и не дописала.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СЕРЫЙ КОРДОН

«Целитель без дара — что колодец без воды: яма, в которую удобно падать». Поговорка имперских лекарей

Глава 1. Чужие руки

Первым вернулся холод.

Не тот уютный больничный холодок, когда в ординаторской опять открыли форточку, — а настоящий, злой, въедливый холод, который начинается с пальцев ног и идёт вверх методично, как гангрена.

Вторым вернулся звук. Скрип. Мерный, деревянный, с подвыванием на каждом третьем такте.

Каталка, лениво подумала я. *Меня везут в реанимацию. Кто-то всё-таки зашёл в ординаторскую. Паша, золотой мальчик, дам тебе первым ассистентом на опухоль, клянусь.*

Третьей вернулась боль в запястьях, и вот она в картину не вписывалась никак. При субарахноидальном кровоизлиянии запястья не болят.

Я открыла глаза.

Надо мной не было потолка реанимации. Надо мной были доски — серые, неструганые, со щелями, в которые сеялась снежная крупа. Сквозь щели проглядывало небо того цвета, какой бывает у неудачных рентгеновских плёнок.

Я лежала на соломе. Солома пахла навозом и чем-то кислым. Пол подо мной трясся и подпрыгивал.

Галлюцинации. Раздражение височной доли. Интересно, сколько я была без сознания? Если вижу сложные зрительные образы — значит, кора работает. Уже хорошо.

Я подняла руку, чтобы потрогать затылок, и рука потянула за собой вторую. Между запястьями звякнуло.

Цепь. Кандалы — широкие, ржавые, под ними стёртая до мяса кожа.

Но не кандалы заставили меня перестать дышать.

Руки.

Я знаю свои руки лучше, чем собственное лицо. Я смотрела на них по двенадцать часов в день, пятнадцать лет подряд, под бестеневой лампой, под микроскопом, в двух парах перчаток. Сухая кожа от вечной обработки. Коротко остриженные ногти. Маленький шрам на левом указательном — на третьем курсе порезалась скальпелем в анатомичке. Рабочие руки тридцативосьмилетней женщины.

Эти руки были чужие.

Узкие. Тонкие. С длинными пальцами — пожалуй, даже лучше моих, пальцы пианистки. Кожа молодая, но в каком состоянии! Ногти обломаны, под ними грязь. Костяшки сбиты. А на ладонях — на обеих ладонях, симметрично, точно посередине — по ожогу. Круглому, размером с монету, уже зарубцевавшемуся, с лучами, расходящимися от центра, как трещины на лобовом стекле.

Шрама на указательном пальце не было.

Я села. Мир качнулся, но устоял. Ощупала лицо — скулы острее, нос тоньше, губы обветрены до корок. Волосы. У меня было короткое каре, удобное под шапочку. Здесь пальцы запутались в длинной, свалявшейся, тёмной гриве.

— Так, — сказала я вслух. — Так. Спокойно.

Голос тоже был не мой. Выше. Моложе. И сказала я это не по-русски.

Я поняла это через секунду — как понимаешь, что идёшь в чужих тапках. Слова были другие, звуки были другие, язык во рту двигался иначе. Но я их понимала. Более того — я на этом думала, и стоило мне попытаться вспомнить, как будет «спокойно» на моём родном, — оно всплыло, но словно через стекло, как всплывает школьный английский.

Вот тогда я и сделала то, что сделал бы на моём месте любой уважающий себя нейрохирург. Провела себе неврологический осмотр.

Ориентация в собственной личности: Северцева Вера Андреевна, тридцать восемь лет, врач. Сохранена. Ориентация в месте и времени: отсутствует напрочь. Зрачки — проверить нечем. Поля зрения — вожу пальцем, вижу со всех сторон. Сила в конечностях — сжала кулаки, пошевелила стопами: симметрично, но слабо, очень слабо, мышцы как у лежачего больного. Пальценосовая проба — попадаю. Речь — есть, хоть и чёрт знает на каком языке. Ригидности затылка — нет. Головной боли — нет.

Нет головной боли. Двадцать минут назад в моём черепе взорвалась бомба, а сейчас голова ясная, как после отпуска.

— Значит, либо я умерла, — рассудительно сказала я доскам, — либо сошла с ума, либо это очень, очень качественная кома.

Доски не возразили.

Ни один из трёх вариантов не предполагал, что нужно лежать и мёрзнуть. Я подползла к стене и приложилась глазом к щели.

Снаружи был лес. Чёрные ели под снегом, дорога в две колеи, и по этой дороге — всадники. Четверо. В серых плащах, в шапках с меховой опушкой, с короткими копьями у стремян. Настоящими копьями. Из-под копыт летела мёрзлая грязь, пар валил от лошадиных боков, и один из всадников, ближний ко мне, сморкался в два пальца с таким вдохновенным мастерством, какого не сыграет ни один актёр и не выдумает ни одна галлюцинация.

Я села обратно на солому.

Хорошо. Допустим.

Допустим, я не знаю, что это. Я не знаю, где я, почему на мне цепи, чьё на мне тело и куда делось моё. Это данные, которых у меня нет. Но когда у хирурга нет данных, он не впадает в истерику — он собирает анамнез.

Я стала собирать.

Одежда: серое шерстяное платье, грубое, длинное, под ним рубаха. Поверх — овчинная безрукавка, явно с чужого плеча: кто-то пожалел. Ноги обмотаны тряпками и засунуты в деревянные башмаки. На груди, слева, к платью пришит лоскут чёрной ткани с вышитым белым знаком — веретено, перечёркнутое косой чертой.

Тело: молодое, лет двадцать — двадцать пять. Истощённое — рёбра можно пересчитать через платье. Синяки на плечах — старые, жёлто-зелёные, хватали руками. На затылке — шишка, свежая. Вшей, слава всем богам, не нашла, хотя искала тщательно.

И ожоги на ладонях.

Я разглядывала их долго. Я видела много ожогов, но таких — никогда. Они не походили ни на термические, ни на химические, ни на электрические. Рубец шёл не снаружи внутрь, а как будто изнутри наружу — словно что-то вырвалось через ладони и на выходе спалило кожу.

Я тронула левый рубец большим пальцем.

И меня ударило.

*

...зал, огромный, белый, свечи, сотни свечей, и запах — сладкий, тяжёлый, запах лилий и болезни. Кровать под балдахином. В кровати ребёнок. Мальчик лет девяти, восковой, с синими тенями под глазами, и он смотрит на меня и шепчет: «Лира, мне не больно. Лира, не плачь».

Мои руки на его груди. От ладоней идёт свет — золотой, тёплый, он льётся из меня, как кровь из артерии, и я не могу остановиться, я не хочу останавливаться, потому что если я остановлюсь —

Рука на моём плече. Сухая, лёгкая.

«Довольно, дитя. Ты себя сожжёшь».

«Магистр, он же... вы же видели, что там! Там, внутри! Это вы —»

«Я сказал — довольно».

Боль в ладонях. Белая. Свет гаснет. Мальчик закрывает глаза.

И крик — женский, страшный, из-за спины: «Она убила его! Она убила моего сына!»

*

Я очнулась, скорчившись на соломе, с зажатыми между коленей руками. По лицу текло. Я вытерла щёку — слёзы. Чужие слёзы из чужих глаз по чужому горю.

Сердце колотилось под сто сорок.

— Так, — повторила я, и голос подвёл. — Так. А вот это уже не галлюцинация.

Потому что галлюцинации собираются из того, что есть в голове. А в моей голове не было ни этого зала, ни этого ребёнка, ни этого слова — «Лира», — от которого внутри что-то сжималось, как от собственного имени.

Память. Это была чья-то память. Она лежала во мне, как чужие вещи в съёмной квартире — в ящиках, за закрытыми дверцами, и стоило потянуть не за ту ручку —

Повозка остановилась так резко, что я клюнула носом в солому.

Снаружи загомонили. Лязгнул засов. Задняя стенка откинулась, и в мой ящик ввалился белый день — и физиономия, заросшая рыжей бородой до самых глаз.

— Живая? — осведомилась физиономия с таким разочарованием, будто проиграла на этом деньги.

— Живая, — согласилась я.

— Ишь. А Курт говорил — не довезём. Вылазь, выжженная. Приехали.

Выжженная. Слово ударило в ту же закрытую дверцу, и из-за неё пахнуло палёным.

Я вылезла. Ноги не держали — пришлось схватиться за борт. Рыжий не помог, но и не толкнул, и на том спасибо.

И тут я увидела, куда мы приехали.

*

Крепость росла из скалы, как зуб из десны, — серая, приземистая, без единого украшения. Ни шпилей, ни флагов, ни той сказочной красоты, которую рисуют на обложках. Стены в пять человеческих ростов, сложенные из камня такого же цвета, как небо над ними. Четыре башни, одна — обрушена на треть и забрана лесами. Над воротами — чёрный от копоти герб, который я не разобрала.

А за крепостью не было ничего.

То есть там, конечно, что-то было: долина, уходящая вниз, к северу. Но в полумиле от стен долину перерезала полоса тумана — плотного, грязно-белого, неподвижного, как вата в ране. Туман стоял стеной, от края до края, сколько хватало глаз, и за ним не было видно ни гор, ни леса, ни горизонта. Словно мир в этом месте заканчивался, и кто-то заткнул дыру ветошью.

От этого тумана у меня свело зубы. Беспричинно, по-звериному.

— Пустошь, — сказал рыжий и сплюнул через левое плечо. — Ты на неё долго-то не гляди. Говорят, она в ответ глядит.

— А это?

— А это Серый Кордон, край земли и конец света. Отсюда, выжженная, не возвращаются. Сюда только везут. — Он хмыкнул. — Солдатики тут дохнут, как мухи по осени. А теперь им ещё и лекарку прислали — такую, чтоб уж наверняка.

Всадники вокруг заржали.

Меня шатало от слабости, я не понимала ровным счётом ничего, на руках у меня были кандалы и чужая кожа. Но слово «лекарка» я услышала — и уцепилась за него так, как утопающий цепляется даже не за соломинку, а за знакомую вывеску на берегу.

Лекарка. Значит, эта девочка — врач. Или что тут у них вместо врачей.

Значит, хотя бы что-то в этом безумии — моё.

*

Через двор меня вели под конвоем. Я смотрела по сторонам и ставила диагнозы — рефлекторно, как дышала.

Часовой у ворот: одутловатое лицо, отёки под глазами — почки. Мальчишка с вёдрами, прихрамывает: старый перелом голени, сросся со смещением, кто-то поленился как следует вправить. Солдат у коновязи надсадно кашляет в кулак, и мне очень не нравится этот кашель. Двое тащат носилки — на носилках тело под рогожей, из-под рогожи свесилась рука. Чёрная. Не грязная — чёрная, с зеленоватым отливом, раздутая, как перчатка, налитая водой.

Ветер донёс запах, и меня замутило. Я знаю этот запах. Его знает любой, кто хоть раз работал в гнойной хирургии.

Газовая гангрена. Или что-то, что очень на неё похоже.

— Четвёртый за неделю, — буркнул кто-то из конвоя. — Гниль жрёт.

— Чем лечили? — спросила я.

На меня посмотрели так, будто заговорила лошадь.

— Тебя не спрашивают, выжженная.

Двор был грязен. Не просто грязен — он был бактериологической катастрофой. Навозная жижа пополам со снегом, помои, выплеснутые прямо у колодца — *у колодца!* — куры, роющиеся в куче окровавленного тряпья под стеной низкой постройки с распахнутой дверью. Из двери тянуло тем же сладким смрадом. Над притолокой было намалёвано веретено.

Лазарет. Вот это — лазарет.

Вера Андреевна, сказала я себе, *тебя ведут на казнь или на каторгу, ты в чужом теле, в чужом мире и, вероятно, в чужом веке. Не время писать докладную в санэпиднадзор.*

Но руки — эти чужие, сбитые, с обломанными ногтями руки — уже сами собой сжимались в кулаки.

*

Меня привели в главную башню, по винтовой лестнице, на которой я дважды останавливалась, чтобы не упасть, — конвойные терпеливо ждали, — и втолкнули в комнату.

После двора здесь было почти тепло. Горел очаг. Стол, заваленный бумагами и картами. Стойка с оружием. Узкое окно, выходящее на север, на туман.

У окна, спиной ко мне, стоял человек.

Высокий. Широкий в плечах. В чёрном, без единого знака различия, только на плечи наброшена волчья шкура — серая, с седым подпалом. Волосы тёмные, коротко и неровно обрезанные, будто сам стриг, ножом. Он стоял неподвижно, сцепив руки за спиной, и всё в нём — посадка головы, разворот плеч — говорило о том, что этот человек привык командовать и отвык просить.

Но я смотрела не на плечи.

Я смотрела на то, как он стоял.

Вес — на правой ноге. Левая — чуть отставлена, разгружена, колено едва заметно подогнуто. Левое плечо на палец ниже правого. Поясница зажата: длинные мышцы спины под чёрным сукном стояли валиками, как канаты. Анталгическая поза. Так стоит человек, у которого каждый час из двадцати четырёх болит спина, который давным-давно перестал это замечать — и скорее умрёт, чем кому-нибудь признается.

— Милорд командор, — рыжий стащил шапку. — Осуждённая Элира Таль, бывшая младшая целительница Императорского лазарета. Доставлена по приговору Совета. Вот бумаги.

Человек у окна обернулся.

Ему было лет тридцать пять. Лицо из тех, что нельзя назвать красивыми и невозможно забыть: резкое, словно вырубленное в несколько ударов, с тяжёлой линией челюсти и ртом, который давно разучился улыбаться. Через левую бровь к скуле шёл шрам — старый, белый, заживший хорошо. Глаза серые. Светлые, очень спокойные и очень усталые — такие бывают у хирургов после суточного дежурства и у людей, которые слишком часто подписывали списки погибших.

Он не взял бумаги. Он смотрел на меня.

Я понимала, что он видит: тощую девчонку в тюремном платье, с колтуном на голове и чёрной нашивкой на груди. Кандалы. Синяки.

— Сними с неё железо, — сказал он.

Голос оказался низкий, негромкий. Таким голосом не кричат — незачем.

— Милорд, по уложению осуждённых...

— Сержант. Посмотри на неё. Потом посмотри на меня. И реши, кого из нас двоих тебе стоит бояться.

Кандалы упали на пол. Запястья под ними были ободраны до сукровицы. Я машинально подняла их к свету — оценить, нет ли нагноения, — и поймала на себе взгляд серых глаз. Очень внимательный.

— Все вон.

Мы остались вдвоём. Потрескивал очаг. За окном неподвижно висел туман.

Он подошёл ближе, и я увидела ещё одно: левую ногу он ставил иначе, чем правую. Носок цеплял пол. Чуть-чуть. Он поднимал колено выше, чем нужно, чтобы стопа не волочилась, и делал это так привычно и ловко, что обычный человек не заметил бы никогда.

Но я не обычный человек. Я пятнадцать лет смотрю, как люди ходят.

Свисающая стопа. Слабость разгибателей. Пятый поясничный корешок, а может, и ниже. Что же у тебя там, командор, — грыжа? Опухоль? Осколок?

— Райнар Хольт, — сказал он. — Лорд-командор Серого Кордона. Я прочёл твой приговор ещё неделю назад, целительница, — гонцы скачут быстрее тюремных повозок. Убийство по небрежению его высочества принца Лиана. Дар выжжен. Ссылка на Кордон бессрочно, гарнизонным лекарем.

Он остановился в двух шагах. Он был выше меня на голову.

— Мой прежний лекарь умер в начале зимы. Гниль. Я четырежды писал в столицу. Я писал, что теряю людей не в бою, а после боя. Что мне нужен целитель с полным даром, а лучше — трое. — Угол рта у него дёрнулся, но это была не улыбка. — И вот мне прислали целительницу без дара. Девчонку, которая убила наследника престола. При дворе всё ещё умеют шутить.

Я молчала. А что я могла сказать? «Простите, я не та, за кого вы меня принимаете, я из Москвы»?

— Так вот что я тебе скажу, Элира Таль. — Он не повышал голоса. — Мне плевать, что ты сделала в столице. Столица далеко. Здесь у меня четыре сотни живых людей, и каждый из них нужен мне на стене. Ты будешь мыть раненых, кормить раненых, подавать воду и закрывать глаза тем, кому уже не помочь. Будешь делать это хорошо — будешь есть то же, что едят мои солдаты, и спать в тепле. Будешь делать плохо...

Он не договорил. За окном, в тумане, что-то коротко и протяжно взвыло — не волк, не ветер, — и смолкло.

— ...за стену я тебя не выгоню, — закончил Райнар Хольт. — Я не зверь. Но зима здесь долгая, а Пустошь всегда голодна, и дураки на Кордоне умирают сами. Ты всё поняла?

Мне надо было сказать «да, милорд». Опустить глаза. Сделать книксен, или что тут делают. Я была никто, в теле никого, и передо мной стоял единственный человек, от которого зависело, проживу ли я хотя бы неделю.

Но в моей голове уже полчаса вертелся лазарет с распахнутой дверью, куры в окровавленных тряпках и чёрная рука, свесившаяся с носилок. А ещё — пятнадцать лет привычки говорить заведующим, главврачам и профессорам то, что я думаю.

— Поняла, — сказала я. — У меня три вопроса, командор.

Серые глаза сузились.

— Первый. Колодец, из которого пьёт ваш гарнизон, стоит в пяти шагах от лазаретной помойки. Кто это придумал, и можно ли на него посмотреть?

Тишина.

— Второй. Ваши люди умирают от гнили после того, как их раны закрывает целитель. Раны закрываются быстро, чисто, а на третий день под рубцом начинается чернота. Так?

Он не ответил. Но по тому, как окаменело его лицо, я поняла, что попала.

— И третий. — Я посмотрела ему прямо в глаза. — Давно у вас немеет левая стопа?

Я видела много лиц. Лица родственников, которым сообщаешь диагноз. Лица коллег, пойманных на ошибке. Но такого я не видела никогда: чтобы лицо за одну секунду превратилось в забрало.

Он шагнул ко мне. Одним движением — быстрым, страшным, хромота исчезла, будто её и не было. Пальцы сомкнулись на моём подбородке — не больно, но так, что не вырвешься.

— Кто тебе сказал? — Очень тихо. — Кассель? Это он тебя прислал — посмотреть, сколько мне осталось?

От него пахло дымом, железом и снегом. Серые глаза были в ладони от моих, и в них не было ни злости, ни страха — только та ледяная собранность, с которой смотрят поверх клинка.

Имя «Кассель» ударило в закрытую дверцу в моей голове так, что я чуть не вскрикнула. *Сухая лёгкая рука на плече. «Довольно, дитя».*

— Никто, — выговорила я. — Мне никто ничего не говорил. Вы стоите на правой ноге. Вы носок подволакиваете. У меня глаза есть.

Он смотрел ещё секунду. Две. Три.

Потом разжал пальцы.

— Глаза, — повторил он без выражения. — У выжженной целительницы.

Отступил к столу. И я увидела, как на этом коротком пути — два шага — он снова вспомнил про левую ногу и снова стал поднимать колено чуть выше.

— Тебя отведут в лазарет. Спать будешь там же. — Он уже не смотрел на меня, он смотрел в бумаги. — И ещё одно, Элира Таль. О том, что ты видела своими глазами, ты не скажешь никому в этой крепости. Ни слова. Командор, который хромает, — это командор, за которым не идут. А если за мной не пойдут — Кордон падёт за одну ночь. Вместе с тобой.

— Врачебная тайна, — сказала я.

— Что?

— Ничего. У нас... в столице так говорят. Я не скажу.

Уже в дверях он меня окликнул:

— Таль.

Я обернулась.

— Колодец копали при моём деде. Помойку у лазарета завёл покойный лекарь. — Пауза. — Чем тебе не нравится колодец?

И я — грязная, шатающаяся, в чужом теле, под чужим приговором — впервые за этот невозможный день почувствовала под ногами что-то вроде твёрдой земли.

— Дайте мне три дня, командор, — сказала я. — И я покажу.

Глава 2. Дом, где умирают

Лазарет Серого Кордона я запомню до конца своих дней — сколько бы их у меня ни оказалось и в каком бы теле я их ни проживала.

Длинный низкий сарай. Земляной пол, присыпанный соломой, которую не меняли, судя по запаху, со времён того самого деда, что копал колодец. Два очага — один не горит. Вдоль стен — нары в два яруса, и на них люди. Двадцать три человека. Я пересчитала дважды, потому что с первого раза не поверила, что на таком пространстве можно разместить столько умирающих.

Они лежали по двое на одной подстилке. Тот, что с лихорадкой, — рядом с тем, у кого открытая рана. Тот, кто кашлял кровью, — над тем, кто метался в бреду. Ведро с нечистотами стояло посреди прохода, и из него же, я клянусь, торчал ковш. Под потолком висели пучки сушёной травы и копчёный окорок.

Окорок меня добил.

— Чего встала? — спросили сзади. — Проходи, не в храме.

Я обернулась.

Он был огромен. Не высок — именно огромен, как бывает огромен старый дуб или печь: в ширину почти такой же, как в высоту. Лет шестьдесят. Седая борода, заплетённая в две косицы, лысый череп в старых шрамах, кожаный фартук, заскорузлый от бурой корки, и руки — каждая с хорошую лопату. В правой он держал пилу. Обыкновенную плотницкую пилу с бурыми зубьями.

— Бром, — сообщил он. — Коновал. Тридцать лет при гарнизоне. Лошадей лечу, зубы рву, руки-ноги отнимаю, когда больше некому. Сейчас — некому. А ты, стало быть, выжженная.

— Стало быть.

— Ну так слушай, выжженная. — Он навис надо мной, и я ощутила запах: лук, пот, перегар и старая кровь. — Лекари тут до тебя были. Столичные. С даром, с перстнями, с белыми ручками. Руки возложат, глаза закатят, ранка затянется — красота! А на третий день парень чернеет и орёт, и тогда зовут Брома с пилой. Мой Гил так помер. Сын. Девятнадцать годов. — Он сказал это ровно, как говорят о погоде. — Так что ты мне тут ручки не возлагай. Нечем — и слава Пряхе. Вон ведро, вон тряпка. Воду носишь, горшки выносишь, под ноги не лезешь. Поняла?

Второй раз за час мне объясняли, что моё место — у ведра. Начинало надоедать.

— Поняла, — сказала я. — Бром. Чем вы обрабатываете пилу?

— Чего?

— Между больными. После одного — перед другим. Чем моете?

Он посмотрел на пилу. Потом на меня. Потом вытер полотно о фартук — тщательно, с обеих сторон — и показал мне: чисто, мол.

Я закрыла глаза и медленно сосчитала до пяти.

Это не его вина. Он не дурак и не злодей. Он делает, что умеет, тем, что есть, — и, судя по всему, он единственный в этой крепости, кто заметил главное: после целителей умирают чаще. Он просто не знает, почему. Микробов тут ещё не открыли. Тут, похоже, вообще не открыли ничего, кроме ведра.

— Хорошо, — сказала я. — Где тут тряпка?

*

Я мыла пол.

Точнее, я выгребала солому. Таскала её охапками во двор, к куче, которую собиралась вечером сжечь, и с каждой охапкой смотрела. Слушала. Нюхала. Задавать вопросы мне было

запрещено, но смотреть не запретил никто, а хороший врач две трети диагноза ставит с порога палаты.

К полудню у меня была полная картина, и картина была такая, что хотелось сесть на пол и завыть.

Из двадцати трёх человек семеро были обычные больные: два воспаления лёгких, кровавый понос — этого я взяла на особую заметку, — обморожение, сломанная ключица, зуб, чирей размером с кулак. Этих можно было вылечить даже здесь, даже голыми руками, просто перестав им мешать.

Шестнадцать были ранены. И с ними творилось то, чего я не видела никогда.

Все раны были от когтей — длинные, параллельные, по три-четыре борозды. Тварей, которые их нанесли, здесь называли мглецами: они приходили из тумана, по ночам, когда Пустошь, как тут выражались, «дышала». Сами раны были неглубокие. От такого не умирают.

Но у девяти из шестнадцати раны были закрыты — ровным, гладким, розовым рубцом, какой у нас получился бы месяца через два при идеальном заживлении. Здесь он появлялся за час: последний гарнизонный лекарь, пока был жив, честно возлагал руки.

И под каждым из этих рубцов жила чернота.

Она шла от шрама вверх по конечности — тёмными ветвящимися полосами, как рисунок вен на анатомическом препарате, только вены были не синие, а угольные. Кожа над ними вздувалась, натягивалась, блестела. При надавливании — я всё-таки надавила, тайком, когда Бром отвернулся, — под пальцами хрустело. Крепитация. Газ в тканях.

А у семерых, которых лекарь закрыть не успел — умер, — раны были открытые. Грязные, гноящиеся, воняющие, в зелёных корках. Выглядели они в сто раз страшнее.

Но черноты у них не было. Ни у одного.

Я стояла с охапкой гнилой соломы, глядела на два ряда нар, и у меня в голове с тихим щелчком вставал на место первый кусок головоломки.

Гниль — живая. Что бы это ни было — бактерия, грибок, местная нечисть, — оно живое, и попадает в рану с когтей. В открытой ране организм с ним борется: гной, отток, воздух. Плохо, грязно, но борется.

А потом приходит целитель и закрывает рану. Запечатывает заразу внутри, в тепле, без воздуха. Идеальный термостат.

И если их «дар» — это то, о чём я думаю... если он просто заставляет ткани расти быстрее...

...то он заставляет расти всё живое. В том числе и гниль.

Они не лечили. Они удобряли.

— Эй, выжженная! Уснула?

Я вздрогнула. Передо мной стояла девочка.

Лет четырнадцати, тощая, остроносая, вся из углов и локтей, с соломенной косицей и глазами неопределённого цвета, какими смотрят бездомные кошки: оценивающе и без иллюзий. На ней была мужская рубаха, подпоясанная верёвкой, и сапоги на три размера больше.

— Тэсса, — представилась она. — Я тут при лазарете. Сирота гарнизонная. Бром велел показать, где чего. — Она оглядела меня с ног до головы с бесцеремонностью ребёнка, выросшего в казарме. — А ты правда принца убила?

— Не знаю, — честно сказала я.

Она моргнула. Видимо, ждала либо «нет», либо слёз.

— Как это — не знаешь?

— А вот так. Меня по голове били, я половины не помню. — Это была даже не совсем ложь: шишка на затылке у меня действительно имелась. — Тэсса. Мне нужно, чтобы ты мне кое-что показала. Только не где что лежит. Покажи мне того, кто умрёт сегодня ночью.

Кошачьи глаза сузились.

— Зачем?

— Затем, что я, может быть, смогу сделать так, чтобы он не умер.

Она думала секунды три. Потом молча повернулась и пошла в дальний угол.

*

Его звали Вит, и ему было от силы двадцать. Рыжий, конопатый, из тех деревенских парней, которых вербовщики берут за рост и за то, что не умеют считать жалованье.

Мглец достал его по бедру шесть дней назад. Покойный лекарь закрыл рану в тот же вечер — последняя работа в его жизни. Теперь правая нога Вита от колена до паха была чёрно-багровой, раздутой вдвое, и по ней, выше, на живот, уже тянулись тёмные ветви.

Он был в сознании. Это было хуже всего. Он лежал, глядел в потолок сухими блестящими глазами и дышал часто и мелко, как собака в жару. Пульс — я нашла его на шее — за сто тридцать, нитевидный. Кожа пылала.

Сепсис. Ещё не шок, но на пороге.

— Бром ему с утра сказал, — шёпотом сообщила Тэсса. — Пилить, мол, надо. А Вит говорит: не дам. Говорит: я с одной ногой матери на шею не сяду, лучше так. А Бром говорит: ну и дурак. А теперь уже и пилить поздно, вона куда пошло. Отец Ансельм приходил, отходную читал.

Я откинула дерюгу и стала смотреть.

Рубец шёл по наружной стороне бедра — три ровные розовые полосы. Под ними ткани стояли колом. Я вела пальцами выше, выше — и нашла границу. Чернота заканчивалась на ладонь ниже паховой складки. Ветви на животе шли только по коже, поверхностно — лимфангит. Глубже живот был мягкий.

Значит, сама зараза ещё в бедре. В мышечном футляре. Запертая.

У нас это называется «лампасные разрезы». Широко раскрыть все футляры, иссечь мёртвое, дать воздух и отток. Операция грубая, некрасивая, и при газовой гангрене, если успеть, — спасает ногу. А если не успеть — хотя бы жизнь.

У нас для этого есть операционная, наркоз, антибиотики, реанимация.

У меня были чужие слабые руки, ведро и коновал с пилой.

— Тэсса, — сказала я. — Слушай внимательно и не переспрашивай. Мне нужен кипяток. Много. Самый большой котёл, какой найдёшь, — пусть кипит ключом. Нож — небольшой, острый, самый острый в крепости. Его — в котёл, пусть варится, пока читаешь... что вы тут читаете? Молитву Пряхе? Вот её, десять раз подряд. Полотно, чистое. Не «почти чистое», а такое, чтоб стиранное и ни разу не надёванное. Тоже в кипяток. И самое крепкое пойло, какое пьют в этой крепости.

— Жжёнка?

— Она горит, если поджечь?

— Синим пламенем!

— Тащи. Сколько сможешь.

— Жжёнка у интенданта, под замком, — засомневалась Тэсса. — Мэтр Ларш за чарку удавится. Он её по счёту выдаёт.

— А Бром где берёт?

Девчонка ухмыльнулась — впервые, быстро и щербато, — и я поняла, что мы сработаемся.

— А Бром, — сказала она, — в сапоге держит.

*

Бром застал меня, когда я мыла руки.

Я мыла их уже третий раз — золой и кипячёной водой, до локтей, скребла ногти щепкой, — и занятие это так меня поглотило, что я не услышала шагов. Услышала только рёв:

— Ты что творишь, шалава столичная?!

Он стоял в проходе, багровый, и в руке у него была фляга — та самая, из сапога. Тэсса выглядывала из-за очага, готовая в любой миг дать стрекача.

— Спасаю ему ногу, — сказала я, не оборачиваясь. — А если повезёт — и жизнь.

— Ногу?! Ему отходную прочли! Его Пряха уже домой мотает! А ты — дай парню помереть спокойно, ведьма, не трожь —

Тогда я обернулась.

Я не очень высокая — в этом теле тоже. Я была слаба, как котёнок, меня мутило от голода, и передо мной стоял человек, который мог убить меня одной оплеухой. Но за пятнадцать лет я переорала такое количество крупных разгневанных мужчин — заведующих, профессоров, пьяных родственников в приёмном, — что голос включился сам. Тот самый. Операционный.

— Бром. Твой сын умер от этого?

Он осёкся, будто налетел на стену.

— Рану закрыли. Она почернела. Ты отнял ногу — поздно. Так?

Молчание. У него дёргалась щека.

— Тогда слушай. Я знаю, почему он умер. Не «на всё воля Пряхи» — а почему. Гниль — живая. Она сидит в ране, как червь в яблоке. Лекарь закрыл рану — запер червя внутри, в тепле, в темноте, и ещё силы ему придал своим даром. Гниль любит темноту, Бром. Она не выносит воздуха. Ты тридцать лет при гарнизоне — скажи: хоть один умер от гнили с открытой раной? С той, что сочится и воняет?

Он молчал очень долго. Я видела, как у него в голове ворочается что-то огромное и тяжёлое — тридцать лет наблюдений, которым никто никогда не дал имени.

— ...Нет, — сказал он наконец. Сипло. — Ни один. Я думал — совпало.

— Не совпало. Я сейчас вскрою ему ногу. Вдоль, широко, до самой кости. Вырежу всё чёрное. Промою твоей жжёнкой и оставлю открытым. Будет страшно, будет много крови, и он будет орать. К утру он либо умрёт — но он и так умрёт, — либо жар спадёт. Мне нужны твои руки, потому что мои его не удержат. И твоя фляга.

— А ежели помрёт?

— Тогда скажешь командору, что выжженная зарезала больного. Меня повесят, и ты был прав.

Он смотрел на меня ещё с минуту. Потом перевёл взгляд на Вита. Потом — на мои руки, красные, распаренные, поднятые на весу кистями кверху, как я держала их пятнадцать лет подряд, чтобы вода стекала к локтям.

— Ты чего их так держишь? — спросил он вдруг. — Будто сдаёшься.

— Чтобы грязь на пальцы не стекала.

— Какая грязь? Ты их до мяса выскребла.

— Та, которую не видно, — сказала я. — Мелкая. Мельче пыли. Она-то и убивает.

Бром пожевал губами.

— Нечисть, стало быть, — подытожил он. — Мелкая нечисть. — И кивнул, как человек, которому наконец-то объяснили по-людски. — Так бы сразу и говорила. Нечисть кипятка боится, это всякий знает. Куда флягу лить?

*

Про следующий час я расскажу коротко. Не потому что забыла — такое не забывают, — а потому что есть вещи, которые незачем смаковать.

Виту дали маковой настойки — нашлась у Брома — и ремень в зубы. Бром лёг ему поперёк груди. Тэсса, белая, как полотно, которое сама же и кипятила, светила мне двумя лучинами и ни разу — ни единого раза — не отвела глаз.

Нож был сапожный. Острый, короткий, с костяной ручкой. Он ещё дымился от кипятка, когда я взяла его чужими пальцами — и чужие пальцы легли на рукоять так, словно делали

это всю жизнь. Тело не моё. Мышцы слабые, кисть дрожит от истощения. Но где и как вести лезвие, знала не кисть.

Я сделала первый разрез — от колена до верхней трети бедра, по наружной стороне, одним движением.

Рубец разошёлся с хлопком. Оттуда вырвался газ, и запах был такой, что Бром — Бром, который тридцать лет пилил ноги, — выругался и отвернулся.

Я не отвернулась. Я смотрела внутрь.

Мышцы были серые. Не красные, не блестящие, не живые — серые, варёные, расползающиеся под лезвием, как мокрая бумага. И среди этой серой каши, вдоль сосудов, тянулись чёрные нити. Тонкие. Ветвящиеся. Похожие на грибницу.

Они шевелились.

Я видела это одну секунду — на свету, на воздухе, под брызгами жжёнки они съёжились, втянулись и замерли. Но я видела. Это не было похоже ни на одну инфекцию из моих учебников. Это было что-то иное — здешнее, чужое, чему в моём мире не существовало названия.

Но оно было живое. Оно боялось воздуха и спирта. А всё, что живёт и чего-то боится, можно убить.

— Свети ближе, — сказала я. — Ещё. Вот сюда.

Я резала, пока не дошла до мышцы, которая вздрогнула под ножом и закровила алым. Живая. Потом — второй разрез, по внутренней стороне. Потом лила жжёнку прямо в рану, и Вит выгибался под Бромом дугой и выл сквозь ремень, а я говорила ему — зачем-то по-русски, сама не замечая, — «терпи, маленький, терпи, родной, ещё чуть-чуть».

Перевязала рыхло. Кипячёным полотном, смоченным в той же жжёнке. Открыто. Ни одного шва.

Когда я разогнулась, оказалось, что я не чувствую ни спины, ни ног. Меня повело. Бром поймал меня за шиворот, как щенка, и усадил на чурбак.

— Девка-то не жрамши, — сказал он кому-то поверх моей головы. — Тэска, беги на кухню. Скажи — Бром велел. Похлёбки, и чтоб с мясом.

*

Я ела. Господи, как я ела. Густая ячменная похлёбка с солониной, в деревянной миске, деревянной ложкой — ничего вкуснее я не пробовала ни в одном ресторане. Тело, в котором я жила, не кормили по-человечески, должно быть, месяц: желудок сводило судорогой, руки тряслись, и мне пришлось силой заставлять себя есть медленно.

Тэсса сидела напротив, подперев щёку, и наблюдала за мной, как за диковинным зверем.

— А ты не как целители, — заключила она.

— А целители какие?

— Чистенькие. Ходят — подол подбирают. К раненому близко не подойдут: руки вот так выставят, — она растопырила пальцы, — посветят издаля и уходят. И всё морщатся. Мэтр Олдер, который помер, — тот ещё ничего был, добрый. А до него был один — так он платок надушенный к носу прижимал.

— А мэтр Олдер от чего умер?

— От гнили же. — Она пожала плечами. — Его мглец и не трогал даже. Он Вита закрыл, а наутро у самого рука почернела — та, которой закрывал. За три дня сгорел. Бром говорит — гниль по дару, как по верёвке, в него перелезла.

Я опустила ложку.

По дару, как по верёвке. Значит, связь двусторонняя. Значит, когда целитель вливает силу в заражённую рану — зараза может пойти по этой силе обратно.

Вот почему столица присылает сюда не лучших. Сюда не хочет ехать никто.

— Тэсса. От него что-нибудь осталось? Вещи, книги?

— Сундук. В каморке, где ты спать будешь. Мэтр Ларш хотел забрать, да отец Ансельм не дал: сказал, по лекарю сорок дней не вышло, грех.

*

Каморка оказалась чуланом за очагом: лежанка, сундук, крюк на стене. Зато — тёплая стена и дверь, которая закрывалась. После тюремной повозки это был дворец.

В углу стояла бадья с водой. Я наклонилась над ней со светильником — и впервые увидела лицо, в котором мне теперь предстояло жить.

Молодая. Очень молодая — года двадцать три. Скулы обтянуты, под глазами тени, на нижней губе запёкшаяся трещина. Но под всем этим — под грязью, голодом и синяками — проступало лицо, которое в моём мире называли бы красивым без всяких оговорок: тонкое, большеглазое, с высоким лбом и упрямым маленьким подбородком. Глаза тёмные. Почти чёрные.

Я долго смотрела на неё. Она — на меня.

— Здравствуй, Элира, — сказала я шёпотом. — Я не знаю, где ты. Не знаю, слышишь ли. Я не просила твоё тело, честное слово. Но раз уж так вышло — я буду с ним бережна. Я его откормлю. И я выясню, что с тобой сделали. Это я обещаю.

Отражение молчало. Только где-то глубоко, за той закрытой дверцей, мне почудился вздох — не то сквозняк, не то эхо.

Сундук мэтра Олдера был не заперт. Две смены белья, тёплая мантия — её я немедленно надела, — бритва, пустая бутыль из-под вина, перстень с зелёным камнем. И книга. Толстая, в засаленной коже — лекарский журнал. Я раскрыла его на последних страницах, и буквы — чужие, угловатые, которых я никогда не учила, — сами сложились в слова.

Почерк был аккуратный, старческий. К концу он рвался.

«Девятый день месяца Стужи. Закрыл троих. Двое почернели».

«Четырнадцатый день. Закрыл четверых. Трое почернели. Те, до кого не дошли руки, — живы. Писал магистру Касселю. Ответа нет».

«Двадцатый день. Сегодня не закрыл никого — сказался больным. Никто не почернел. Пряха, Мать-Пряха, чему нас учили? Сорок лет я плету, как учили. Сорок лет».

«Двадцать третий день. Пришёл ответ из столицы. Магистр Кассель пишет, что гниль есть кара за слабость веры лекаря и что мне надлежит плести усерднее. Велит о своих наблюдениях не распространяться, дабы не сеять смуту в гарнизоне. Письмо велит сжечь».

Последняя запись была сделана уже другой рукой — левой, вкривь и вкось, как пишет человек, у которого отнялась правая:

«Он знает. Он всегда знал. Кто найдёт — не верьте Веретену. Откры...»

Дальше шла клякса.

Я сидела на чужом сундуке, в чужой мантии, с чужой книгой на коленях, и слушала, как за стеной тяжело, но ровно — уже ровнее, чем днём, — дышит во сне рыжий Вит.

Письма из столицы, которое велено было сжечь, в сундуке не оказалось.

Зато к внутренней стороне крышки — я нашла её, только когда стала закрывать, — была прилеплена воском полоска пергамента. Обгорелая с одного края. Три строчки, почерк мелкий, изящный, летящий. И подпись — одна буква в завитке, от которой у меня снова заныли ожоги на ладонях.

«К».

Глава 3. Коловорот

Три строчки на обгорелом пергаменте я перечитала столько раз, что могла бы повторить их во сне.

«...наблюдения ваши верны и именно потому опасны. Закрывайте, как закрывали. Кордон должен кровоточить — такова воля тех, кто выше нас с вами. К.»

Кордон должен кровоточить.

Я спрятала полоску в единственное место, которое у меня было, — в подол, в прореху шва, — и легла. Думала, что не усну. Уснула мгновенно, как проваливаются в наркоз.

Разбудила меня Тэсса. Она трясла меня за плечо, и лицо у неё было такое, что я вскочила, уже просчитывая: остановка? кровотечение? шок?

— Он есть просит, — сказала Тэсса шёпотом, будто сообщала о явлении святого. — Вит. Говорит: жрать охота, мочи нет.

*

Жар у Вита не спал — жар ещё держался. Но это был другой жар: влажный, с испариной, с ясными глазами. Пульс — девяносто. Тёмные ветви на животе побледнели и отступили к паху на добрых три пальца.

Я сняла повязку. Рана выглядела чудовищно — как и положено. Но края её были красные. Живые. И пахла она кровью и сивухой, а не могилой.

Вокруг нар собралось человек десять: все, кто в лазарете мог стоять на ногах, и Бром, скрестивший на груди свои лопаты. Они смотрели на рану. Потом на меня. Потом снова на рану.

— Ногу-то я чую, — сообщил Вит потолку с глубоким удивлением. — Болит, зараза. Вчера не болела.

— Болит — значит, живая, — сказала я. — Болеть она у тебя будет долго, и хромать ты, возможно, будешь всю жизнь. Но на двух ногах.

Он повернул голову. Конопатое лицо сморщилось, и я с ужасом поняла, что он сейчас заплачет, — здоровенный двадцатилетний лоб.

— Госпожа лекарка...

— Не госпожа. И без слёз, тебе воду терять нельзя. Тэсса — пить ему, кипячёную, тёплую, с солью и мёдом, по ковшу каждый час. Бром, перевязывать будем дважды в день, полотно — только из кипятка.

— Слышь, выжженная, — сказал Бром.

Я приготовилась к бою.

— Ты это... — Он с усилием прочистил горло. — Ты вчера про нечисть говорила. Мелкую. Что кипятка боится. Я ночью пилу свою в котле сварил. И клещи. И иглу шорную. Это как — правильно?

Мне пришлось отвернуться и сделать вид, что я поправляю повязку. Потому что нельзя же, в самом деле, чтобы лекарка ревела на второй день службы.

— Правильно, Бром, — сказала я. — Это очень правильно.

*

Следующие сутки я помню как один бесконечный обход.

Я вскрыла ещё четверых — тех, у кого под рубцами только начинало темнеть. Троим успела. Четвёртый, пожилой сержант с чернотой, дошедшей до подмышки, умер у меня под ножом, тихо, не приходя в себя, — и я впервые в этом мире закрыла человеку глаза. Бром молча накрыл его рогожей. Никто не сказал мне ни слова упрёка. Здесь к смерти привыкли так, как у нас привыкают к дождю.

Остальное время ушло на войну с лазаретом.

Я развела больных: раненых — направо, заразных — налево, того, что с кровавым поносом, — в отдельный закут за рогожей, и ведро ему отдельное, и руки после него мыть золой. Велела жечь старую солому и стелить свежую. Велела снять окорок. Тэсса снимала его со слезами на глазах: окорок был Бромов, заветный.

— Он тут три года висит, — заступилась она. — Он уж как родной.

— Вот именно, — сказала я.

К вечеру второго дня я пошла воевать с интендантом.

Мэтр Гвидо Ларш обитал в сухой, жарко натопленной комнате при складах, и первое, что я подумала, войдя: вот человек, который нигде не пропадёт. Гладкий, круглый, улыбчивый, с пухлыми белыми руками, с перстеньком на мизинце. На Кордоне, где у всех были обветренные рожи и чёрные ногти, он смотрелся как сдобная булка в ящике с гвоздями.

— Мыло? — переспросил он ласково. — Щёлок? Полотно в штуках? Жжёнка — два ведра в неделю?! Милая барышня, вы, верно, запамятовали, кто вы. Вы осуждённая. Вам положены миска, ложка и молитва. Жжёнка идёт господам офицерам и на растирку лошадям, полотно — на подштанники, и каждая штука у меня вот здесь, — он нежно похлопал по толстой книге. — А переводить казённое добро на покойников...

— Они не покойники.

— Сегодня — нет. — Он улыбнулся ещё ласковее. — Это Кордон, барышня. Здесь все покойники, просто некоторые пока ходят. Ступайте.

Я ушла. Но в дверях обернулась и посмотрела на его руки ещё раз: белые, пухлые, чистые. Очень чистые. С аккуратно подпиленными ногтями.

В крепости, где нет мыла для раненых, ты, голубчик, моешь руки каждый день. Интересно. Ты, стало быть, знаешь то, чего здесь не знает никто?

Мысль мелькнула и ушла — мне было не до того.

Потому что во дворе закричали.

*

Его несли вчетвером, на плаще. Молодой солдат, совсем мальчишка, — русый, круглолицый, с пушком на губе. Голова мотается. Один сапог потерян.

— Что? — Я уже бежала рядом. — Что случилось, быстро, по порядку!

— Йорен это, с третьего десятка, — пыхтел тот, что держал плащ у головы. — На плацу, на палках дрались — учебных. Дарби ему в висок засветил. Он брык — и лежит. Ну, водой окатили — встал. Смеётся. Говорит, ерунда, искры только из глаз. Доучился, пошёл обедать...

— Когда это было?

— Да в полдень!

Сейчас смеркалось. Часа четыре, может, пять.

— Дальше!

— А дальше сидит в казарме, говорит: башка трещит. Блеванул. Лёг. Мы думали — спит. А он храпит как-то не по-людски, и не добудиться...

Меня окатило таким холодом, какого не было и на тюремной соломе.

Удар в висок. Потеря сознания. Встал, смеётся. Через несколько часов — головная боль, рвота, сон, из которого не разбудить.

Белые кроссовки. Зелёные шнурки.

Этого не могло быть. Таких совпадений не бывает. Последний больной моей прежней жизни — и первый тяжёлый больной новой, с одним и тем же диагнозом, с одной и той же проклятой артерией под одной и той же височной костью. Словно кто-то там, наверху, — Пряха ли, Гиппократ ли, — спросил с издёвкой: *а без томографа? а без трепана? а без Зины, без Гурама, без кислорода? Ну-ка, Вера Андреевна. Покажи, чего ты стоишь на самом деле.*

— На стол! — рявкнула я. — Не на нары — на стол, к свету! Тэсса, все лучины, какие есть! Бром!!

Его положили на длинный дощатый стол, на котором Бром обычно пилил.

Дыхание — шумное, редкое, с паузами. Пульс — я считала по собственному сердцу, часов у меня не было — около пятидесяти. Напряжённый, медленный, полный.

Я оттянула веки. Левый зрачок — узкий. Правый — огромный, во всю радужку, чёрный, как колодец. Я поднесла лучину. Левый сжался. Правый не дрогнул.

Правая рука и нога — подняла, отпустила: упали, но с тонусом. Левые — как плети.

На правом виске, под русыми волосами, — припухлость. Мягкая, тестоватая. Я нажала — мальчишка даже не поморщился.

— Что с ним? — Бром был уже рядом.

— У него кровь под костью. — Я говорила быстро, раздирая на Йорене ворот. — Вот здесь, у виска, под черепом проходит жила. Палкой её порвало. Она кровит — внутрь, между костью и мозгом. Кровь копится и давит. Он уже не просыпается. Через час перестанет дышать.

— И чего делать?

Я посмотрела на него.

— Сверлить.

В лазарете стало тихо.

— Чего сверлить? — очень осторожно уточнил Бром.

— Череп. Дыру в кости, вот тут. Выпустить кровь. Бром, у тебя есть коловорот?

Я видела, как от стола попятились. Кто-то сотворил знак — щепотью у лба, будто завязывал узелок. Кто-то прошептал: «Ведьма». Солдаты, притащившие Йорена, смотрели на меня так, как смотрят на заговорившую покойницу.

— Душу выпустить хочет, — сказал кто-то сзади. — Голова — она вместилище. Отец Ансельм говорил...

— Бром! — Я схватила его за фартук — обеими руками, как хватают за грудки, хотя до груди ему я едва доставала. — Коловорот. Плотницкий. Перо — в палец толщиной. Ты же им доски сверлишь, я видела у тебя в углу! Вчера ты мне поверил — и Вит сегодня просит жрать. Поверь ещё раз. Один раз!

Он стоял, как стоит бык перед воротами бойни. Потом медленно, очень медленно повернул голову к Тэссе:

— Котёл кипит?

— Кипит, — пискнула Тэсса.

— Кидай струмент. Весь ящик.

*

Я обрила Йорену висок Олдеровой бритвой. Вымыла кожу жжёнкой — флягу Бром отдал уже без единого слова. Вымыла руки. Подняла их кистями вверх.

Передо мной на кипячёной холстине лежал мой инструментарий: сапожный нож; шорная игла с вощёной нитью; двое клещей — малые и большие; ложка — обычная, оловянная, с обточенным о камень краем; комок пчелиного воска; кочерга, раскалённая в очаге добела. И коловорот. Старый плотницкий коловорот с отполированной ладонями рукоятью и пером, которое ещё дымилось.

Левин бы хохотал до слёз, подумала я. *«Верочка, — сказал бы он, — а вы всё жаловались, что вам микроскоп не той фирмы закупили».*

Точку я нашла пальцами. Два поперечных пальца над скуловой дугой, два — кпереди от уха. Я находила её сотни раз, по снимкам, по навигации, — а теперь нашла на ощупь и поняла, что она здесь, никуда не делась, что человеческий череп в этом мире устроен точно так же, как в том. Это почему-то успокоило меня больше всего.

— Держи голову, — сказала я Брому. — Намертво. Если дёрнется — я войду в мозг.

Разрез. Кожа, мышца — до кости. Кровь — тёмная, вялая. Я развела края пальцами Тэссы: «Держи вот так, не бойся, тяни». Она тянула, закусив губу до белизны.

Кость под ножом открылась желтоватая, гладкая. И на ней — тонкая, как волос, ломаная линия. Трещина.

Я взяла коловорот. Поставила перо. И впервые за пятнадцать лет взмолилась — не знаю кому:

Только не провались. У меня нет фрезы с ограничителем. У меня нет ничего. Руки, только не провалитесь.

Первый оборот. Хруст. Тот самый запах — палёного рога, костной пыли. Он был здесь таким же.

Второй. Третий. Я давила весом тела, потому что силы в чужих плечах не было, и считала слои — не глазами, а ладонью, через рукоять, через дрожь железа. Наружная пластинка — плотная, звонкая. Потом губчатое вещество: перо пошло мягче, из-под него полезла розовая каша. Потом снова плотное — внутренняя пластинка. Вот здесь. Вот здесь — по волоску, по четверть оборота...

Дверь лазарета ударила о стену.

— Что здесь происходит?

Я не обернулась. Мне не нужно было оборачиваться: этот голос я слышала один раз в жизни и запомнила навсегда.

— Милорд! — заголосили разом. — Милорд командор, она ему голову сверлит! Живому! Душу вынимает, ведьма столичная!

Шаги. Быстрые, тяжёлые. Лязг — длинный, певучий; такой звук издаёт только одна вещь на свете, и я опознала его, хотя прежде слышала только в кино. Меч, покидающий ножны.

Холодное коснулось моей шеи. Сбоку, под самым ухом. Там, где сонная артерия.

— Убери руки от моего солдата.

Я остановила коловорот. Но не убрала. Перо сидело в кости, и до внутренней пластинки оставался, по моим расчётам, какой-нибудь миллиметр.

— Командор, — сказала я, глядя на свои пальцы. — У меня под руками умирает мальчик. Ему осталось меньше часа. Посмотрите на его глаза — сами, сейчас. Правый зрачок.

Тишина. Лезвие не дрогнуло. Потом я услышала, как он наклонился.

— Один как блюдце, — сказал Райнар Хольт. Медленно. — Другой как игла.

— Вы это видели раньше.

Это был не вопрос. Я услышала это по его голосу.

— Видел. — Пауза. — После удара булавой по шлему. Трижды. Все трое умерли к утру.

— Все трое умерли, потому что у них под черепом скопилась кровь и раздавила мозг. Её можно выпустить. Я знаю как. Мне нужно три минуты, чтобы вы меня не зарезали. Если через три минуты из этой дыры не пойдёт кровь — режьте.

— А если пойдёт?

— Тогда к рассвету он откроет глаза.

Мне казалось, я слышу, как он думает. Четыре сотни человек. Ведьма со сверлом. Мальчишка на столе. Трое, которые умерли к утру.

Холодное у моей шеи не исчезло. Но чуть-чуть — на волос — отодвинулось.

— Три минуты, — сказал лорд-командор. — Я считаю.

*

Четверть оборота. Ещё.

Перо провалилось — на толщину ногтя, не больше; я поймала его, остановила всем телом, так что хрустнуло в запястье.

И из отверстия пошло.

Сначала — капля. Чёрная, густая. Потом сгусток выдавило наружу, как пасту из тюбика, — тёмный, блестящий, дрожащий. Смородиновое желе.

Кто-то за моей спиной охнул.

— Клещи, — сказала я. — Малые.

Никто не шевельнулся. Клещи лежали на холстине в локте от меня, но мои руки были заняты.

— Тэсса!

— У неё руки заняты, — произнёс голос над моим ухом.

Лязг — меч вернулся в ножны. А потом в поле моего зрения появилась рука. Крупная, смуглая, с разбитыми костяшками и белым шрамом через запястье. Она взяла с холстины малые клещи — за рукоятки, не коснувшись губок, — и вложила мне в ладонь.

Правильно вложила. Как подаёт хорошая операционная сестра: рабочей частью от себя, рукоятью в руку.

Я всё-таки посмотрела на него — на одно мгновение. Он стоял рядом, плечом к моему плечу, и смотрел не на меня, а в рану. Лицо у него было такое, какое бывает у человека, который много лет бился в запертую дверь и вдруг увидел, как её открывают ключом.

— Говори, что делать, — сказал он.

— Вон тот котёл. Ковш кипячёной воды, остудить, чтоб рука терпела. И лейте сюда тонкой струйкой, когда скажу.

Я расширяла отверстие клещами — выкусывала кость по краю, крошку за крошкой, пока дыра не стала с крупную монету. Ложкой — оловянной ложкой, Господи, — вычерпывала сгустки. Их было много. Полная чашка, а то и больше. Они шли и шли, и под ними наконец показалась оболочка мозга — серо-синяя, вдавленная внутрь, как дно миски.

— Лейте.

Вода потекла ровно. Рука, державшая ковш, не дрожала.

Оболочка была неподвижна. Мёртвая, плоская. Секунда. Две. Пять.

Ну же. Ну же, мальчик. Я успела? Я ведь успела?

Она вздрогнула.

Поднялась — чуть-чуть. Опала. Поднялась снова. И пошла, пошла, в такт пульсу, расправляясь, наполняясь, оживая на глазах.

— Оно... шевелится, — выдохнула Тэсса.

— Это мозг дышит, — сказала я. Голос сел. — Ему дали место.

И тут в глубине, у переднего края, брызнуло алым. Тонкая струйка ударила мне в щёку — тёплая, весёлая, живая. Вот она, красавица. Средняя оболочечная артерия. Старая знакомая.

— Кочергу. Нет — стойте. Слишком грубо. Бром, иглу, самую тонкую, раскалить конец!

Я прижгла её — точечно, шипящим остриём. Проверила. Залепила кровящий край кости пчелиным воском — и он встал, как родной, потому что костный воск в моём мире тоже когда-то был просто пчелиным. Кожу стянула четырьмя редкими швами, оставив в углу раны полоску кипячёного полотна — выпускник.

— Дыхание, — сказал Райнар Хольт.

Я прислушалась. Йорен дышал. Ровно. Глубоко. Без пауз.

Я оттянула ему веко. Правый зрачок — он ещё был шире левого. Но он был уже не блюдцем. И когда Тэсса поднесла лучину, он нехотя, лениво, как разбуженный кот, — сузился.

Ноги у меня подломились. Просто отказали, обе разом. Я бы села на земляной пол, прямо в кровь и костную крошку, но меня подхватили — под локоть, жёстко, одной рукой — и опустили на чурбак.

Над столом стояла тишина. Двадцать человек — раненые, солдаты, Бром — смотрели на дырку в черепе, из которой больше не шла кровь, и на грудь мальчишки, которая поднималась и опускалась.

— Душа-то на месте, — пробормотал кто-то растерянно. — Не вышла.

— Душа, — сказала я, уронив голову на руки, — в дырку такого размера не пролезет. Она у человека большая.

Сама не знаю, зачем я это сказала. Но кто-то хмыкнул. Потом ещё кто-то. И напряжение лопнуло — люди задвигались, заговорили, кто-то хлопнул Брома по спине.

Я подняла голову.

Райнар Хольт стоял надо мной. Свет лучин лежал на его лице резко, как на гравюре. На скуле у него была кровь — брызги той самой артерии; он их не замечал.

— Где тебя этому учили? — спросил он негромко.

Вот оно. Вопрос, на который у меня не было ответа.

— Далеко.

— В Императорском лазарете этому не учат. Я знаю, чему там учат. Меня там лечили. — Что-то прошло по его лицу, тёмное, быстрое. — Там возлагают руки и жгут свечи.

— Значит, не в лазарете.

— Таль. — Он опустился на корточки, чтобы наши глаза оказались на одном уровне, и я успела заметить, как он это сделал: правое колено согнул, левую ногу отвёл в сторону прямой. Присесть по-настоящему он не мог. — Сегодня ты спасла моего человека. Вчера — ещё четверых, мне доложили. Я этого не забуду. Но я командую крепостью на краю мира, и я не могу позволить себе не знать, кто спит под моей крышей. Ты не та, кого описывает приговор. Девица двадцати трёх лет, три года в ученицах, «дар посредственный, нрав робкий». Робкий. — Он почти улыбнулся. — Ты держала коловорот в черепе живого человека с моим мечом у горла, и рука у тебя не дрогнула. Кто ты?

Серые глаза были очень близко. Спокойные. Упорные. Они бы дождались ответа — такие умеют ждать.

И я поняла, что врать этому человеку не хочу. Не «опасно» — не хочу. Но правда была такова, что за неё меня либо сожгут, либо запрут как умалишённую.

— Я не могу вам сказать, — ответила я. — Не потому что не доверяю. Потому что вы не поверите. Я сама не до конца верю. Но я клянусь вам чем хотите: я не враг ни вам, ни вашим людям. Всё, что я умею, — резать, шить и не давать умирать. Больше ничего. Дайте мне делать это — и спросите меня ещё раз через месяц.

Он молчал долго.

— Через месяц, — сказал он наконец. И поднялся — тяжело, с опорой на край стола. — Ларш выдаст тебе всё, что попросишь. Мыло. Полотно. Жжёнку. Если заартачится — скажи, что я спущусь к нему сам.

Он уже шёл к двери, когда я вспомнила.

— Командор!

Он обернулся.

— Вы подали мне клещи. — Я сама не знала, почему это так важно. — Правильно подали. Рукоятью.

— Я двадцать лет подаю людям оружие, — сказал Райнар Хольт. — Его всегда подают рукоятью.

Дверь закрылась.

А я сидела на чурбаке, слушала, как дышит мальчик с дыркой в виске, и думала о том, что щека у меня до сих пор мокрая, и не от крови. И ещё — о том, что лезвие его меча отодвинулось от моей шеи раньше, чем из отверстия пошла кровь.

Он поверил мне до того, как я оказалась права.

Глава 4. Вода

Йорен открыл глаза перед рассветом.

Я не спала — сидела рядом на чурбаке, привалившись к столбу, и каждые четверть часа проверяла зрачки. Привычка. В моём мире для этого существуют мониторы, датчики и дежурная сестра; здесь была я и лучина.

Он открыл глаза, поморгал, сфокусировался на мне и спросил хрипло:

— А обед?

— Какой обед?

— Я ж обедать шёл. — Он подумал. — А ты кто? А чего башка такая... — Рука потянулась к виску.

— Руки! — Я перехватила её. — Не трогать. У тебя там дырка.

— Какая дырка?

— Хорошая. Круглая. Я старалась.

Он посмотрел на меня с глубоким недоверием деревенского парня, которого городские вечно норовят надуть, и я засмеялась — впервые в этом мире, в голос, до слёз, зажимая рот ладонью, чтобы не перебудить лазарет. Левая рука у него двигалась. Левая нога двигалась. Он помнил своё имя, имя матери и то, что Дарби должен ему три медяка.

Я заставила его пожать мне обе руки, высунуть язык, показать зубы и коснуться пальцем носа. Он проделал всё это с покорностью человека, попавшего к сумасшедшим.

— Теперь спи.

— А обед?

— Тэсса тебя накормит. Бульоном. И если я узнаю, что кто-то из дружков притащил тебе сала или жжёнки, — просверлю вторую дырку, для симметрии.

Он заснул с улыбкой. А я вышла во двор, в синий мороз, села на перевёрнутую бадью у стены и минут пять просто дышала.

Над северной стеной стоял туман. Над восточной — занималась заря, тонкая, зелёная, ледяная. На стене чернела фигура часового.

Я подумала: *если это кома, то пусть меня не будят.*

Подумала и сама испугалась этой мысли.

*

— Госпожа лекарка, я полагаю?

Я подняла голову. Передо мной стоял офицер — молодой, смуглый, черноглазый, с белозубой улыбкой, от которой, должно быть, пострадала не одна трактирная служанка от столицы до Кордона. На плечах — плащ с капитанской пряжкой, на поясе — кривая сабля не здешнего вида.

— Дарен Ишвар, капитан, правая рука командора и по совместительству его левая нога. — Он произнёс это легко, но глянул остро: проверял, пойму ли. Я не изменилась в лице, и он, кажется, остался доволен. — Весь гарнизон с ночи гудит. Одни говорят, вы вынули из Йорена беса через дырку в голове. Другие — что вы вложили туда беса. Третьи ставят деньги на то, проснётся он или нет. Я поставил серебряный, что проснётся.

— Забирайте выигрыш. Он проснулся и требует обед.

— Клянусь песками, я знал! — Он хлопнул себя по колену. — А теперь идёмте. Командор велел: три дня прошли. Сказал — вы обещали ему что-то показать про колодец.

Я совсем забыла. Три дня. Я обещала.

Я встала, одёрнула Олдерову мантию, которая была мне велика на три размера, и поняла, что мне совершенно нечего показывать. Микроскопа нет. Чашек Петри нет. Как объяснить людям, которые верят в Пряху и боятся дырки в голове, что смерть живёт в капле воды?

— Капитан, — сказала я. — А найдётся у вас кусок угля и чистая стена?

*

Мы стояли в караульной: командор, капитан Ишвар, интендант Ларш — его вытащили из тёплой постели, и он был кисл, как вчерашнее молоко, — и ещё один человек, которого я прежде не видела.

Высокий, сухой, лет пятидесяти. Серая ряса, подпоясанная вервием, на груди — деревянное веретено на шнурке. Лицо аскета, изрезанное морщинами, бритая голова. А на левой руке не хватало трёх пальцев: старый, грубый рубец, какой оставляет топор.

Отец Ансельм. Капеллан. Тот, кто говорил, что голова — вместилище души.

Он смотрел на меня без злобы, но и без приязни: так смотрят на незнакомую собаку — укусит или нет.

— Говори, — сказал Райнар Хольт.

Он сидел. Единственный из всех — сидел, на лавке, вытянув левую ногу, и я поняла, что ночь у него была плохая: под глазами лежали тени, а у рта залегла складка, которой вчера не было.

Я взяла уголь и нарисовала на белёной стене квадрат.

— Это крепость. Вот лазарет. Вот колодец — в пяти шагах. Вот сюда, под стену лазарета, тридцать лет выливают помои, гной и кровь. Земля — она как губка. Всё, что вылито сверху, уходит вниз, к воде.

— Вода в колодце чистая, — возразил Ларш. — Прозрачная, как слеза. Я сам...

— Вы сами её не пьёте, мэтр Ларш.

Он поперхнулся.

— Вам возят воду с Верхнего ключа, отдельной бочкой, раз в три дня. Вам и господам офицерам. Мне Тэсса рассказала. — Я повернулась к командору. — За эти три дня я расспросила всех, кто лежит у меня с кровавым поносом и с брюшной горячкой, и всех, кто лежал до них, — Бром помнит каждого за два года. Вот, смотрите.

Я стала ставить на стене чёрточки. Слева — длинный ряд. Справа — короткий.

— Сорок один человек за два года. Одиннадцать умерли. Из сорока одного — тридцать девять пили из колодца. Рядовые, конюхи, кухня. Двое — с ключа: но один из них, я выяснила, денщик, и он таскал воду господину из бочки, а сам пил из колодца, потому что ближе. А теперь офицеры. Сколько их, капитан?

— Двадцать шесть, — сказал Ишвар. Он уже не улыбался.

— Сколько из них за два года слегли с животом?

Он подумал.

— Один. Лейтенант Корв. Прошлым летом. Но он тогда в дозоре стоял на Нижней заставе и пил...

— ...что придётся. — Я поставила на стене последнюю чёрточку и отступила. — Я не могу показать вам ту дрянь, что живёт в этой воде. Она слишком мелкая для глаза. Но вот она. — Я ткнула углём в длинный ряд. — Вот её следы. Одиннадцать могил. Не от мглецов, не от гнили — от воды. Перенесите помойку за стену, вниз по склону. Велите кипятить всё, что пьют. Всем, не только офицерам. И через месяц я сотру эту стену, потому что рисовать на ней станет нечего.

Стало тихо.

Отец Ансельм смотрел на чёрточки. Долго. Потом поднял трёхпалую руку и медленно провёл по короткому ряду, пересчитывая.

— Я отпевал каждого из них, — проговорил он. Голос у него оказался глубокий, надтреснутый, как старый колокол. — Каждого из одиннадцати. И говорил матерям в письмах: такова воля Пряхи, нить оборвалась. — Он обернулся ко мне, и я приготовилась услышать

про ведьму. — Ты хочешь сказать, дочь моя, что я тридцать лет сваливал на Пряху вину за выгребную яму?

— Я хочу сказать, отец, что Пряха дала человеку нить. А куда выливать помои — оставила решать самому.

Капеллан моргнул. А потом в глубине его глаз что-то дрогнуло — и я вдруг увидела под рясой того, кем он был раньше: солдата. Человека, потерявшего три пальца не за молитвой.

— Милорд, — сказал он, не отводя от меня взгляда. — Я прикажу братьям-послушникам копать новую яму сегодня же. С северной стороны, под стеной. И проповедь в воскресенье прочту про воду. — И добавил, уже мне, сурово: — Но в голову человеку ты больше без моего благословения не полезешь. Я желаю при том присутствовать. Мало ли. Вдруг душа и впрямь большая.

Я поняла, что это шутка, только когда Ишвар фыркнул.

— Ларш, — сказал Райнар. — Котлы на кухне — на кипячение. Дров отпустить сверх нормы.

— Милорд, дрова считаны до весны! Если каждый конюх станет распивать кипяток...

— Тогда конюхи будут пить с ключа, а ты — из колодца. Выбирай.

Интендант поклонился. Улыбка у него осталась прежней — сдобной, ласковой. Но когда он выходил, глаза его на миг встретились с моими, и в них не было ничего сдобного. В них был счёт. Холодный, точный, бухгалтерский.

Вот я и нажила врага, подумала я. *На четвёртый день. Рекорд даже для меня.*

*

— Зря вы так с Ларшем, — заметил Ишвар.

Мы шли через двор. Командор велел ему показать мне крепость — «чтоб знала, где что, и не шаталась» — и капитан исполнял приказ со вкусом: он, как я быстро поняла, вообще всё делал со вкусом — ел, ругался, жил.

— Он вор?

— Он интендант. Это одно и то же слово, просто на разных языках. — Дарен пожал плечами. — Но он хороший вор. При нём гарнизон сыт. При прежнем мы лошадей ели. А ещё у него в столице рука, и рука длинная: его сюда не командор ставил, его прислали. Через месяц после нас.

— После вас?

Он остановился. Мы стояли на стене, у зубца, и под нами лежала долина, а за ней — туман.

— Вы правда не знаете? Весь двор знал. Хотя вы тогда, верно, ещё в ученицах бегали... — Он облокотился на камень. — Три года назад это был не «командор Кордона». Это был маршал Хольт. Тот самый, что взял Южные перевалы с шестью тысячами против двадцати. Солдаты на него молились. Старый император перед смертью сказал — я сам слышал, стоял в карауле, — «жаль, что ты не от той женщины, Рай. Я бы оставил тебе всё».

— Он бастард?

— Старший сын. От северянки, дочери какого-то вождя. Император Теодрик — младший, законный. — Дарен говорил ровно, но я слышала, как тщательно он выбирает слова. — Братья любили друг друга. Что бы вам ни пели при дворе — любили. Только вокруг трона всегда хватает людей, которым выгодно объяснить молодому императору, что старший брат с армией за спиной — это не брат, а претендент.

— И его сослали.

— Нет. Сначала его убили.

Я обернулась.

— Ну, попытались. — Дарен криво усмехнулся. — На охоте. Человек в ливрее загонщика, нож в спину — пониже рёбер, у хребта. Нож был непростой: моровая сталь, чёрная, из

Пустоши. Клинок сломался в ране. Убийцу я зарубил сам и до сих пор себе не прощу: надо было брать живым.

Вот оно. Осколок. У хребта, пониже рёбер.

— А дальше?

— А дальше командора лечил лично магистр Кассель. Верховный целитель, Десница Пряхи, святой человек. Три недели не отходил от постели. Рану закрыл так, что и шрама почти нет. Двор рыдал от умиления. — Дарен сплюнул со стены. — Командор встал. Через месяц он уже сидел в седле. А через два его назначили сюда — «ввиду чрезвычайной важности северного рубежа». Почётно. С правом писать его величеству лично. Только на письма почему-то не отвечают.

— А осколок?

Чёрные глаза метнулись ко мне.

— Какой осколок?

— Вы сказали — клинок сломался в ране. Осколок вынули?

Он долго молчал. Ветер трепал его плащ.

— Магистр Кассель сказал — вынул, — ответил он наконец. — Сказал, рана чистая.

— А командор с тех пор хромает. И с каждым месяцем сильнее.

— Я вам этого не говорил.

— Вы мне этого и не говорили. У меня глаза есть.

— Да, — сказал Дарен Ишвар очень серьёзно. — Он упомянул. Он сказал: «Она на меня посмотрела один раз — и увидела то, что я три года прячу от четырёх сотен человек. Присмотри за ней, Дар. Либо она — лучшее, что случалось с Кордоном, либо нас всех за неё сожгут».

— А вы как думаете?

Капитан рассмеялся — снова легко, белозубо, как будто и не было этого разговора.

— А я, госпожа лекарка, поставил на вас серебряный. Я редко проигрываю.

*

Крепость жила.

Я втягивалась в эту жизнь с лёгкостью, которая пугала меня саму. Наверное, дело было в том, что устроена она была понятно: как большая больница. Подъём по рожку. Смена караулов — как смена дежурств. Свои интриги, свои любимцы, своя кухня, где всегда знают всё раньше начальства. Даже запахи в чём-то сходились: дым, пот, железо, варёная капуста.

За неделю я отъелась настолько, что перестала шататься от ветра. Отмыла волосы — на это ушло три бадьи воды и кусок щёлочного мыла, которое мэтр Ларш выдал мне с лицом человека, отрезающего от себя кусок, — и обрезала их по плечи Олдеровой бритвой. Тэсса ахнула: «Как у солдата!» Зато под косынку они убирались в одно движение.

Лазарет менялся. Земляной пол выскребли и засыпали свежим песком. Плотники сколотили мне одиночные лежаки — по одному больному на каждый, роскошь невиданная. Бром собственноручно врыл во дворе столб с котлом, под которым теперь круглые сутки горел огонь, и объявил, что всякому, кто подойдёт к раненому, не окунув руки в щёлок, он лично оторвёт уши и сварит в том же котле. Ему верили.

Вит учился ходить с костылём. Йорен на шестой день сбежал в казарму, был пойман, возвращён и привязан к лежаку за ногу — полотенцем, символически; дырку в виске он показывал всем желающим за медяк.

Никто больше не почернел.

Никто. Одиннадцать дней — ни одного случая гнили. Мглецы приходили дважды, по ночам; оба раза дозорные отбились у стены, и ко мне приносили людей с рваными бороздами от когтей. Я не закрывала ни одной раны. Вычищала, вырезала всё серое, заливала жжёнкой,

клала повязку с мёдом — мёд здесь был, и я благословила пчёл этого мира, — и оставляла открытым. Раны гноились, воняли, заживали медленно и безобразно.

И оставались красными.

На двенадцатый день я вышла утром из лазарета и обнаружила на пороге свёрток. Сапоги. Маленькие, женские, на меху, подшитые войлоком, — не новые, но крепкие. И рукавицы.

Ни записки, ни знака.

— Это кто? — спросила я у Тэссы.

Тэсса сделала невинные глаза — что в её исполнении выглядело до крайности подозрительно.

— А я почём знаю? Может, Пряха послала.

— Тэсса.

— Ну... — Она поковыряла порог носком сапога. — Командор третьего дня проходил. Ночью, с обхода. Ты на крыльце сидела, спала сидя, а башмаки твои деревянные рядом стояли. Он на них поглядел. Потом на ноги твои в обмотках поглядел. И лицо у него сделалось... — Она поискала слово. — Ну, как когда ему докладывают, что караульный на посту уснул. А наутро капитана Ишвара в деревню гонял. Только ты не говори, что я сказала! Он велел — молчок.

Я надела сапоги. Они оказались впору — точь-в-точь, словно с меня снимали мерку.

Он смотрел, как я сплю. Мысль была неуместная, ненужная и совершенно не относящаяся к делу. Я выбросила её из головы.

Она вернулась через минуту.

*

В ту ночь мне не спалось.

Я лежала в своей каморке и смотрела в темноту. За стеной сопел лазарет. И я — впервые, наверное, за все эти дни — позволила себе подумать о том, о чём думать запрещала.

Я умерла.

Там, в ординаторской, у недописанного протокола. Меня нашли, должно быть, через полчаса. Паша. Бедный мальчик. Реанимация, которую уже некому было проводить. Потом — морг. Мой собственный морг, где я знала каждого санитара. Вскрытие. «Разрыв аневризмы передней соединительной артерии». Патологоанатом Семён Маркович покачал головой и сказал: «Сапожник без сапог».

Кто пришёл на похороны? Отделение — конечно. Зина плакала. Олег... пришёл бы Олег? Наверное. Постоял бы в сторонке со своей новой женой и подумал: «Я же говорил».

Мама умерла шесть лет назад. Отца я не помню. Детей нет: всё казалось — успею, вот защищусь, вот получу категорию, вот доделаю ремонт... Шунта, надеюсь, забрала соседка.

Вот и весь итог. Тридцать восемь лет. Четыре тысячи двести одна операция. Кот. Фикус.

Я ждала, что заплачу. Не заплакала. Вместо этого поймала себя на странном, почти неприличном чувстве.

Мне здесь было... не хорошо, нет. Здесь было холодно, страшно, грязно, здесь я носила чужое лицо и чужой приговор. Но здесь, за одиннадцать дней, я была нужна так, как не была нужна ни разу за последние десять лет. Там, дома, не стань меня — в понедельник на моё место вышел бы другой нейрохирург, не хуже. Здесь, не стань меня — Вит лежал бы под рогожей, а Йорен — рядом с ним.

И ещё: здесь кто-то заметил, что у меня мёрзнут ноги.

Дожила, Вера Андреевна. Растаяла от пары сапог.

Я села, натянула эти самые сапоги и вышла на воздух — проветрить голову.

*

Ночь была ясная, со звёздами. Чужими: я искала Большую Медведицу и не нашла. Зато лун оказалось две — одна большая, желтоватая, почти полная, другая маленькая, голубая, как

льдинка, низко над горизонтом. Я смотрела на них минут пять, задрав голову, и только потом поняла, что мне уже не страшно. Две так две.

Двор лежал пустой, синий. На северной стене, у дальней башни, двигалась тень.

Я узнала его по походке.

Он шёл вдоль зубцов — один, без факела, без охраны. Ночной обход. Тэсса говорила: командор обходит стены каждую ночь, сам, после второй стражи. Солдаты этим гордились.

Только сейчас, когда он думал, что никто не видит, он шёл иначе. Не было той выправки, той обманчивой лёгкости. Он шёл, держась рукой за зубцы. Тяжело подтягивая левую ногу. Останавливался через каждые десять шагов.

У лестницы он остановился надолго. Потом начал спускаться — боком, правой вперёд, приставляя левую, как спускаются старики.

На шестой ступени нога подвела.

Я видела, как это случилось: колено сложилось, будто из него вынули шарнир. Он успел схватиться за стену, но не удержался — съехал на бедро, тяжело, с глухим ударом, проехал две ступени и остался сидеть.

Я рванулась — и замерла.

Он не звал на помощь. Он сидел на обледенелой лестнице, запрокинув голову к стене, с закрытыми глазами, и лицо его в свете двух лун было таким, какого не должен видеть никто. Не боль. Боль я видела тысячу раз. Это было другое — глухое, одинокое, терпеливое отчаяние человека, который знает, что будет дальше, и знает, что помощи ждать неоткуда.

Потом он открыл глаза. Взялся обеими руками за левое бедро и переставил ногу — руками, как чужую вещь. Упёрся в стену. Поднялся. Постоял. Одёрнул волчью шкуру.

И пошёл дальше — ровно, прямо, с развёрнутыми плечами. Потому что внизу, у ворот, стоял часовой, и часовой должен был видеть командора.

Я простояла в тени лазаретного крыльца, пока он не скрылся в башне. Он меня не заметил.

Конский хвост, думала я, и мысли шли холодные, ясные, как звёзды. *Не один корешок — несколько. Слабость нарастает. Он уже переставляет ногу руками. Дальше — онемение в промежности. Потом откажет мочевой пузырь. Потом вторая нога. Год. Может быть, полгода.*

Святой человек магистр Кассель три недели не отходил от его постели.

И закрыл рану так, что шрама почти нет.

Над осколком.

Над осколком моровой стали из Пустоши — в человеке, который должен был умереть, но оказался слишком живуч. И которого тогда отправили туда, где раненых принято «закрывать».

Кордон должен кровоточить.

Я вернулась в каморку, достала из подола обгорелую полоску и в сотый раз перечитала изящный летящий почерк.

Меня прислали сюда умирать. Его прислали сюда умирать. Мэтра Олдера, который начал о чём-то догадываться, — уже похоронили.

Очень хорошо, магистр Кассель, подумала я. Очень хорошо. Я не знаю, кто вы. Я не знаю, зачем вам это. Я знаю о вас только то, что вы — врач, который убивает лечением. В моём мире у таких, как вы, отбирают диплом и сажают в тюрьму.

В вашем, как я понимаю, придётся обойтись без суда.

Я легла и на этот раз уснула сразу. И мне приснился сон — не мой.

Глава 5. Ночь, когда дышала Пустошь

Мне шестнадцать. Я стою на коленях на холодном мраморе, и вокруг меня — сорок девочек в белом, и все мы держим перед собой раскрытые ладони, как нищенки.

Он идёт вдоль ряда. Я слышу шелест его мантии. Он останавливается возле каждой, и там, где он останавливается, над ладонями вспыхивает свет — у кого яркий, у кого слабый, как гнилушка.

Возле меня он стоит дольше, чем возле других.

«Как тебя зовут, дитя?»

«Элира Таль, магистр».

«Таль... Из тех Талей, что с Соляного берега? Обедневший род. Отец умер, мать умерла, на руках младший брат. — Он знает обо мне всё, а я вижу его впервые. — Дар у тебя невелик, Элира. Плести ты будешь посредственно. Но у тебя есть иное. Скажи мне: когда ты смотришь на больного — ты ведь видишь? Не кожу. То, что под кожей».

У меня пересыхает во рту. Мама говорила: никогда. Никому. За это жгут.

«Нет, магистр».

Он улыбается. У него доброе лицо — круглое, в белой бороде, с ясными голубыми глазами. Лицо дедушки из сказки.

«Умница. Всегда отвечай именно так. — Сухая лёгкая рука ложится мне на голову. — Я возьму тебя к себе в ученицы. И твоего брата пристрою в Академию, когда подрастёт. Ты будешь мне очень полезна, дитя моё. Ты будешь моими глазами».

*

Я проснулась оттого, что кричала.

Не я — она. Элира. Крик ещё стоял у меня в горле, чужой, девичий, и ладони горели так, будто я сунула их в очаг.

Я села. Сердце колотилось. В каморке было темно и тихо.

«Ты ведь видишь? Не кожу. То, что под кожей».

Я поднесла руки к лицу. В темноте ожоги на ладонях казались двумя чёрными монетами.

Значит, вот как. У девочки было что-то ещё, кроме «посредственного дара». Что-то, за что жгут. Что-то, чем старик пользовался семь лет — «ты будешь моими глазами», — пока она не увидела то, чего ей видеть не полагалось.

«Я видела, что вы сделали. Я всё видела».

«Вот поэтому, девочка моя, ты больше ничего не увидишь».

Он её не выжег. Вернее — выжег, но не то. Не дар плести. Он выжег ей глаза — те, другие.

Додумать я не успела.

Над крепостью заревел рог.

*

Я слышала его раньше — утренний, дневной, на смену караула. Этот был другим. Низкий, прерывистый, захлёбывающийся: три коротких, один длинный, три коротких, один длинный. От этого звука что-то древнее, сидящее у человека в спинном мозге, вставало дыбом.

Дверь каморки распахнулась. Тэсса — в одной рубахе, босая, глаза в пол-лица.

— Дышит! — выдохнула она. — Пустошь дышит! Большой выдох!

Я выскочила наружу, на бегу завязывая косынку.

Туман шёл на крепость.

Он больше не стоял стеной в полумиле. Он двигался — медленно, беззвучно, как прилив, затапливая долину, и в свете двух лун был не белым, а каким-то сизым, с трупной прозеленью. Его передний край клубился, выбрасывая вперёд длинные языки, и там, в этих языках, что-то двигалось. Много чего-то.

На стенах уже горели огни. Бежали люди, гремело железо, сержанты орали. Над всем этим — один голос, который не орал: низкий, ровный, слышный в каждом углу двора.

— Третий десяток — на северную куртину. Арбалетчики — огня не жечь, ждать команды. Дарен, восточная башня твоя. Смолу — к воротам. Спокойно. Мы это делали сто раз.

Райнар Хольт стоял на стене над воротами, без шлема, в чёрной кольчуге, с мечом в опущенной руке. Он не держался за зубец. Он стоял так, будто у него две здоровые ноги и впереди ещё сорок лет жизни, — и я видела, как, пробегая под ним, солдаты поднимают головы и расправляют плечи.

Он посмотрел вниз. Через весь двор, через сотню мечущихся людей — на меня.

— Лекарка! — Это было как удар хлыста. — Сколько примешь?

Не «спрячься». Не «уберите женщину». *Сколько примешь.*

Что-то внутри меня встало на место с тем же сухим щелчком, с каким в начале суточного дежурства защёлкиваются завязки халата.

— Сколько пришлёте! — крикнула я. — Только пусть несут ко мне, а не к покойницкой! И дайте мне шестерых — кто на стене не годен, но таскать может!

Он кивнул. Один раз. И отвернулся к туману.

*

У меня было, по моим прикидкам, минут десять.

— Бром! Столы — три в ряд, под навес, к свету! Котёл — на полный огонь! Тэсса, всё полотно, какое накипятили, — сюда. Жжёнку — сюда. Мёд, нитки, иглы, ножи — на холстину, как я учила, и чтоб ни одна рука без щёлока! Вит, ты на костыле стоишь? Садись у двери. Будешь сторожить порог.

— Чего сторожить-то?

— Сейчас объясню. Все — слушать сюда!

Они собрались вокруг: Бром, Тэсса, шестеро присланных — двое пожилых обозников, одноглазый конюх, кухонный мужик, два мальчишки-барабанщика лет по тринадцать. Мой персонал. Моё приёмное отделение.

— Сейчас понесут раненых. Много, сразу. И каждый, кто принесёт, будет орать, что его — самый тяжёлый, или самый главный, или что это его брат. Вы никого не слушаете. Вы слушаете только меня. Я гляну на каждого и скажу одно из трёх слов. — Я подняла три пальца. — «Красный». Это значит — на стол, сейчас же, умрёт без меня через считаные минуты. «Жёлтый» — подождёт: класть вот сюда, вдоль стены, Тэсса, ты перетягиваешь, затыкаешь, поишь. «Зелёный» — ходячие: в тот угол, сидеть, не выть, ждать.

— А ежели... — начал один из обозников.

— Есть четвёртое слово. «Чёрный». — Я посмотрела на них. — Это тот, кому я помочь уже не смогу, а пока буду пытаться — умрут трое, кому могла бы. Таких — под навес у часовни. К отцу Ансельму. Дать воды, дать мака, не оставлять одного. Это самое тяжёлое слово, и говорить его буду только я. Грех — на мне.

Бром смотрел на меня из-под бровей.

— Этак, — сказал он медленно, — выходит, ты сейчас будешь решать, кому жить.

— Нет. Это решат мглецы. Я буду решать, кому успею помочь. Это разные вещи, Бром. Я потом объясню, если переживём.

На стене хлопнули арбалеты — разом, как рвётся парус.

И туман закричал.

*

Я никогда не была на войне. Я видела её последствия: работала на двух крупных авариях, на взрыве газа в жилом доме, однажды — на обрушении торгового центра, когда в приёмное за час привезли сорок человек. Я думала, что знаю, как это бывает.

Я не знала ничего.

Первого принесли через пять минут: арбалетчик, сдёрнутый со стены, — перелом обеих голеней, но грудь и живот целы. «Жёлтый!» Второй шёл сам, зажимая предплечье, сквозь пальцы лило. «Зелёный — стой, нет, покажи... жёлтый, Тэсса, жгут выше локтя!» Третий —

Третьего несли на щите, и я увидела, что с ним, ещё издали. Когти вошли под кольчугу снизу, от паха к рёбрам. То, что должно быть внутри, было снаружи.

Он был в сознании. Немолодой, усатый, с лицом лавочника. Он смотрел на меня с надеждой.

Чтобы это зашить, мне нужны были операционная, наркоз, шесть часов времени и кровь, литра четыре.

— Чёрный, — сказала я.

И наклонилась к нему, и взяла его за руку, и сказала — ровно, глядя в глаза: «Сейчас тебе дадут питьё, и боль уйдёт. Я приду к тебе, как только смогу». Я солгала. Мы оба это знали. Он кивнул.

Его унесли к часовне. Мне хотелось пойти следом. Мне хотелось сесть на землю и закрыть голову руками.

— Следующий!

Они шли и шли. Красный — рваная рана шеи, фонтан: я зажала пальцами, прямо в ране, нащупала сосуд, перевязала вощёной ниткой вслепую, под потоком крови, пока Бром держал парня за плечи; не артерия — вена, повезло, жить будет. Жёлтый. Жёлтый. Зелёный. Красный — грудь, сосущая рана, пузыри розовой пены: заткнула промасленной кожей с Бромова фартука, прибинтовала с трёх сторон, четвёртую оставила — клапан. Жёлтый. Чёрный. Господи, второй чёрный, мальчишка, младше Йорена.

Руки работали сами. Чужие тонкие руки, которым я за две недели успела вернуть немного силы, делали то, чему тело Элиры никогда не училось, а моя память помнила так глубоко, что не нужна была голова. Зажать. Перевязать. Иссечь. Следующий.

Где-то на двадцатом я перестала слышать крики со стены. Остались только моё дыхание, Бромов бас — «держу... держу, режь» — и тонкий голос Тэссы, которая читала над жёлтыми молитву Пряхе, перетягивая им жгуты.

— Дорогу!! Дорогу, песок вам в глотку!

Их было двое, они почти бежали, и между ними, обвиснув, с серым лицом, шёл капитан Ишвар.

Левый рукав его был разодран от плеча до запястья. Под ним — четыре борозды. Глубокие, до кости, от локтя до кисти: мглец полоснул по руке, поднятой для защиты. Кровило умеренно. Кисть — я схватила её — тёплая, пальцы шевелятся. Сосуды и нервы целы.

— Жёлтый, — сказала я.

— Ты ослепла?! — заорал один из тех, кто его привёл: сержант с бешеными глазами. — Это капитан! Капитан Ишвар! Клади его на стол, сука столичная, или я —

— Сержант. — Я не повысила голоса. — На столе у меня рядовой с дырой в груди. Если я его сниму — он умрёт через пять минут. Капитан от этой раны не умрёт ни через пять, ни через пятьдесят. Положи его у стены и вернись на стену, потому что там ты сейчас нужнее.

— Да я тебя —

— Корбин. — Дарен разлепил серые губы. — Заткнись. Положи меня, куда сказала дама. — Он съехал по стене на пол и запрокинул голову; на лбу блестел пот. — И беги. Они лезут на восточную. Там Хольт. Один. С двумя десятками.

Сержант глянул на него, на меня, выругался так, что покраснел бы и Бром, — и убежал.

— Больно? — спросила я, перетягивая капитану плечо.

— Щекотно. — Он попытался улыбнуться. — Лекарка... Руку отнимут?

Они все задавали этот вопрос. Все, кого доставали когтями. Потому что знали здешний порядок: либо «закроют» — и сгниёшь, либо отпилят.

— Не отнимут.

— Правая у меня есть. А вот левой я... на ситаре играю. — Глаза у него закатывались. — Глупо, да?

— Очень. Сыграешь мне, когда заживёт. Тэсса — мак ему. Немного.

*

Я не знаю, сколько это длилось. По ощущениям — сутки. Потом Бром сказал, что около трёх часов.

Поток иссяк не сразу — стал реже, потом превратился в ручеёк. Я разогнулась над столом и впервые подняла голову.

Небо на востоке серело. Туман... туман уходил. Откатывался от стен так же беззвучно, как пришёл, втягиваясь в долину, оставляя на снегу тёмные неподвижные кучи.

Мы отбились.

Я успела это понять. Успела выдохнуть.

А потом у ворот закричали — уже не боевым криком, а тем, тонким, животным, какого я ещё не слышала, — и во двор, перемахнув через баррикаду из телег, ввалилось оно.

Я видела его секунды три. Этого хватило, чтобы потом видеть его во сне.

Оно было ростом с лошадь, но не имело с лошадью ничего общего. Длинное. Серое. Голое — кожа влажная, полупрозрачная, как у глубоководной твари, и под ней перекатывалось тёмное. Четыре конечности — слишком много суставов в каждой — и на концах когти в локоть длиной. Головы в привычном смысле не было: шея просто заканчивалась пастью, круглой, как у миноги. Глаз я не нашла.

От него шёл туман. Он сочился из кожи, стекал, стлался по земле.

И оно — безглазое — повернулось точно ко мне. К лазарету. К столам, от которых на весь двор несло свежей кровью.

Оно было раненое, обезумевшее, из бока торчали три арбалетных болта. Оно шло умирать и хотело прихватить с собой побольше.

Оно прыгнуло.

Я не закричала. Я успела сделать одно: развернулась и упала поперёк стола, на рядового с дырой в груди, закрыв его собой. Глупо. Бессмысленно. Тридцативосьмилетняя женщина с высшим образованием могла бы придумать что-нибудь умнее.

Удара не было.

Был звук — мокрый, тяжёлый, будто топор вошёл в сырое полено. И рёв. И тяжесть рухнула на землю в двух шагах от меня, так что стол подпрыгнул.

Я подняла голову.

Между мной и тварью стоял Райнар Хольт.

Я не видела, откуда он взялся. Его не было во дворе — он был на восточной башне. Чтобы оказаться здесь, ему нужно было пробежать полстены и спрыгнуть с галереи — с высоты в два человеческих роста.

Спрыгнуть. С его спиной.

Меч он вогнал твари в пасть — снизу вверх, по самую гарду, и теперь стоял над ней, держась за рукоять обеими руками. Тварь дёргалась. Когти скребли по мёрзлой земле.

Он выдернул клинок. Ударил ещё раз — коротко, в основание шеи. Серое тело вытянулось и замерло.

Стало очень тихо. Слышно было, как трещат факелы.

Он обернулся. Лицо было в чёрной крови — не своей. Глаза нашли меня. Обежали — быстро, сверху вниз: голова, руки, ноги. Целая.

— Таль. — Он дышал тяжело. — Ты закрыла его собой.

— А вы спрыгнули со стены, — сказала я. Голос был чей-то чужой, тонкий. — С вашим позвоночником. Вы идиот, командор.

Кто-то из солдат ахнул. Лорду-командору, герою Южных перевалов, в лицо, при всех —

Райнар Хольт смотрел на меня. В углах глаз у него собрались морщинки. А потом он засмеялся — коротко, хрипло, запрокинув голову; я слышала этот смех впервые, и, судя по лицам вокруг, гарнизон не слышал его года три.

— Обмен любезностями окончен, — проговорил он. — Иди работай, лекарка.

Он сделал шаг.

И я увидела то, чего не увидел больше никто, потому что все глядели на тварь. Левая нога под ним не согнулась. Он перенёс на неё вес — и она пошла в сторону, как у тряпичной куклы. Он удержался — на мече, воткнув клинок в землю, как трость, одним движением, которое со стороны выглядело жестом усталого победителя.

Лицо у него стало белое. Совсем.

Наши глаза встретились. *Молчи*, сказали мне серые глаза.

— Капитан Ишвар ранен, — сказала я громко. — Он спрашивал вас, командор. Он вон там, у стены. Идёмте, я провожу.

И подошла, и встала слева, вплотную, и подставила плечо под его руку — так, будто это он меня поддерживал, испуганную женщину, едва не съеденную чудовищем.

Его ладонь легла мне на плечо. Тяжёлая. Он опёрся — сначала чуть-чуть, потом, когда нога подломилась снова, всем весом, и у меня затрещали колени.

— Двадцать шагов, — сказала я одними губами. — До стены. Потом сядете. Считайте.

— Ты командуешь мной при моих солдатах, — так же тихо отозвался он. От него пахло чёрной кровью, дымом и ледяным потом — запахом очень сильной боли.

— Я командую в лазарете. Вы на моей территории.

— Семь, — сказал Райнар сквозь зубы. — Восемь.

Мы дошли. Он опустился на лавку рядом с Дареном — медленно, с прямой спиной, как садятся короли и радикулитчики. Дарен приоткрыл мутные от мака глаза.

— Рай. Ты страшен, как мой долг перед трактирщиком.

— Спи.

— Она не даст отпилить мне руку. Она обещала. Я ей на ситаре...

— Спи, я сказал.

Райнар поднял на меня глаза. Он ничего не произнёс. Я тоже. Я просто сняла его ладонь со своего плеча — она была ледяная — и на секунду, на одну лишнюю секунду, задержала её в своей.

Потом я пошла работать.

*

Руку капитану Ишвару я спасала на рассвете.

К тому времени красных у меня не осталось: четверо на лежаках, под присмотром, один умер на столе. Чёрных было пятеро. Отец Ансельм просидел с ними всю ночь; когда я наконец дошла до часовни, живых там уже не было. Усатый с лицом лавочника лежал с закрытыми глазами, и кто-то — я знала кто — сложил ему руки на груди.

— Он ждал тебя, — сказал капеллан. Без упрёка. — Я сказал ему, что ты придёшь. Он ответил: «Пусть не ходит. Пусть молодых шьёт».

Я кивнула. Говорить не могла.

— Дочь моя. — Трёхпалая рука легла мне на плечо. — Я воевал двадцать лет. Я знаю слово, которое ты сегодня говорила. У нас оно называлось по-другому, и произносил его сержант, проходя после боя по полю, с кинжалом милосердия в руке. Ты хотя бы дала им мак и священника. Иди. Тебя ждут живые.

Четыре борозды на руке Дарена я раскрыла от локтя до запястья. Чёрные нити уже были там — тонкие, едва заметные, жмущиеся к сухожилиям. Я вырезала их вместе с тканью, по

миллиметру, обходя нервы, которые знала наизусть: вот срединный, вот локтевой — здравствуйте, мои хорошие, вы и тут на своих местах.

Бром светил. Смотрел. Запоминал.

— Сорок три, — сказал он вдруг.

— Что — сорок три?

— Приняли за ночь. Я считал. Пятеро твоих чёрных. Один на столе. Тридцать семь живых. — Он помолчал. — В прошлый Большой выдох, осенью, принесли тридцать. К утру из них дышало двенадцать. А через неделю — шестеро.

Я затянула последний узел — редкий, наводящий, только чтобы прикрыть сухожилия, — и распрямилась. Спина не разгибалась. Перед глазами плавали чёрные мухи.

— Через неделю и посчитаем, — сказала я. — Пока рано.

— Ты как это назвала-то? Ну, красный, жёлтый...

— Сортировка.

— Сортировка, — повторил Бром, пробуя слово на вкус. — Хитрая штука. А кто придумал?

Николай Иванович Пирогов. Севастополь, тысяча восемьсот пятьдесят четвёртый год.

— Один лекарь, — сказала я. — Очень хороший. Он давно умер. И очень далеко отсюда.

— Царствие ему, — серьёзно произнёс Бром и сотворил у лба узелок. — Толковый был мужик.

Я засмеялась, и смех перешёл во что-то другое, и Бром — огромный, вонючий, страшный Бром — молча сгрёб меня своей лопатой за плечи и прижал к заскорузлому фартуку, и я ревела ему в грудь, как девчонка: по усатому лавочнику, по мальчишке, который был младше Йорена, по себе, по недописанному протоколу. А он гудел надо мной: «Ну-ну. Ну-ну, дочка. Наревёшься — и шить пойдём. Там ещё зелёных полон угол».

Дочка.

Во дворе, в сером утреннем свете, солдаты крючьями стаскивали в кучу мёртвых тварей — жечь.

— Бром, — сказала я, вытирая лицо рукавом. — Одного мне оставь. Того, что командор зарубил. Не жгите.

— На что он тебе?

— Хочу посмотреть, что у него внутри.

Бром поглядел на меня долгим взглядом.

— Нет, — заключил он. — Всё ж таки ведьма.

Но тварь оставил.

Глава 6. Свиная кожа и чёрный камень

Через неделю мы посчитали.

Из тридцати семи живых живыми остались тридцать шесть. Тридцать седьмой — арбалетчик с переломами обеих голеней — умер на четвёртые сутки, внезапно, за разговором: сел на лежаке, схватился за грудь, посинел и упал. Тромб. Оторвался из вен переломанной ноги и ушёл в лёгкие. Я ничего не могла сделать ни здесь, ни, по совести говоря, там.

Гнили не было ни у одного.

Бром ходил по лазарету, шевеля губами, и пересчитывал лежаки заново — не верил. Потом пошёл к отцу Ансельму и заказал благодарственный молебен. Потом, поразмыслив, заказал второй — «за того лекаря, который давно помер и далеко, который придумал сортировку; как звать — не знаю, Пряха разберётся».

Я стояла в часовне, в заднем ряду, слушала, как сотня охрипших солдатских глоток поёт на чужом языке за упокой души Николая Ивановича Пирогова, и думала, что жизнь — штука гораздо более странная, чем мне казалось в ординаторской.

*

Тварь я вскрыла на третий день после боя.

Её отволокли в ледник под северной башней, и она лежала там на колотом льду, серая, длинная, уже не страшная — просто мёртвая. Я взяла с собой Брома и, после некоторых колебаний, Тэссу: девчонка смотрела с такой мольбой, что отказать было бы жестоко. Отец Ансельм увязался сам — «дабы пресечь, ежели что».

Я не патологоанатом. Но за годы учёбы я вскрыла достаточно, чтобы понимать, как устроено живое существо: любое. Кошка, свинья, человек — план один. Сердце гонит кровь. Лёгкие берут воздух. Кишка переваривает. Всё, что бегает и убивает, должно есть и дышать.

У этого не было кишки.

Я прошла ножом от пасти до таза — кожа резалась странно, как мокрая замша, — и развела рёбра. Их оказалось слишком много, и они были мягкие, хрящевые. Под ними — серое волокнистое мясо. Полость. И в полости — почти ничего. Ни желудка, ни печени, ни кишечных петель. Пасть, круглая, усаженная зубами в три ряда, вела в короткий слепой мешок длиной в локоть.

— Оно не жрёт, — сказал Бром озадаченно. — Глянь-ка. Ему жрать нечем. А чего ж оно тогда людей рвёт?

— Я не знаю.

Сердца тоже не было. Сосуды имелись — чёрные трубки, набитые студенистой тёмной массой, — но сходились они не к мышечному насосу, а к плотному узлу в центре груди, там, где у человека средостение.

Я разрезала узел.

Нож скрежетнул о твёрдое.

Он лежал внутри, как косточка в сливе. Камень. Чёрный, гладкий, размером с голубиное яйцо, тёплый — в ледяном трупе, пролежавшем три дня на льду, — тёплый. К нему со всех сторон подходили чёрные нити, те самые, что я вырезала из Витова бедра: врастали в него, как корни.

Я взяла его клещами и поднесла к светильнику.

На поверхности был рисунок. Тонкий, врезанный, слишком правильный: круг и в нём — линии, расходящиеся от центра лучами, как трещины на стекле.

У меня зашевелились волосы на затылке.

Я этот рисунок уже видела.

— Тэсса, — сказала я очень спокойно. — Подержи свет. Вот так.

И разжала левую ладонь.

Ожог. Круглый, с лучами от центра.

Не точь-в-точь. На ладони рубец был грубее, шире, смазаннее — как оттиск печати в сравнении с самой печатью. Но это был один и тот же знак.

— Матерь-Пряха, — прошептал отец Ансельм.

Все четверо мы смотрели то на камень, то на мою руку.

— Отец, — сказала я. — Вы знаете, что это?

— Нет. — Он был бледен. — Но я знаю, на что это похоже. Так выглядит узел. Замыкающий. Когда пряха заканчивает нить, она вяжет узел, чтобы пряжа не распустилась. А целители, когда кончают плетение, запечатывают его знаком — у каждого свой, как подпись. — Он сглотнул. — Только те знаки — из света. Их не видно. А этот...

— А этот из камня. И сидит внутри твари, у которой нет ни сердца, ни желудка.

Я завернула камень в тряпицу. Тёплый. Он был тёплый, как живой.

— Об этом никому, — сказал капеллан раньше, чем успела я. — Никому. Бром, ты понял? Девочка?

— Могила, — буркнул Бром.

Тэсса кивнула. Она не сводила глаз с моей ладони.

— Отец Ансельм, — проговорила я. — Мне поставили это на руки в столице. В Императорском лазарете. При смерти принца. Я не помню кто.

Я лгала. Я почти наверняка помнила кто. *Сухая лёгкая рука на плече.*

Капеллан долго молчал. Потом снял с шеи своё деревянное веретено, поцеловал — и спрятал под рясу, словно ему вдруг стало неловко носить его на виду.

— Я тридцать лет служу Пряхе, — сказал он глухо. — И тридцать лет мне твердят, что Пустошь — кара за грехи наши, а твари её — дети мрака. Дочь моя, я простой поп и бывший рубака. Но даже я знаю: узлы сами не вяжутся. — Он поднял на меня глаза. — Спрячь это. Хорошо спрячь. И да поможет нам Мать — потому что если я понял верно, то больше нам не поможет никто.

*

Дни пошли своим чередом, и чередом неожиданно мирным. Пустошь, выдохнув, затихла: туман отполз дальше обычного, и старожилы говорили, что теперь недели три будет спокойно.

Я учила Тэссу шить.

На кухне раз в неделю кололи свинью; я выпросила у повара шкуру с брюха — с салом, толстую, упругую — и растянула на доске.

— Смотри. Иглу держишь не пальцами — вот этим, зажимом. Его мне кузнец сделает получше, а пока — Бромовы щипцы. Вкол — отвесно. Не ковыряй, не тяни: поворачивай кисть, игла сама пройдёт по дуге. Выкол — на том же расстоянии от края. Узел: раз, два, перехват. Не затягивай насмерть! Ткань должна дышать. Перетянешь — отомрёт.

Она сопела, высунув кончик языка. Пальцы у неё были ловкие, воровские — потом она призналась, что до лазарета промышляла на кухне, и повар грозился отрубить ей руку.

— А зачем мне? — спросила она на третий вечер, не поднимая головы от шкуры. — Я ж без дара. Я проверялась, в десять лет, когда искатели приезжали. Пусто. Сказали: порожняя, как горшок.

— Я тоже без дара.

— Ты выжженная. Это другое. Ты была с даром.

— Тэсса. — Я отложила нож. — Посмотри на меня. Вит ходит?

— Ходит.

— Йорен живой? Капитан Ишвар пальцами шевелит?

— Ну.

— Я хоть раз возложила на кого-нибудь руки? Засветилась? Глаза закатила?

Она подумала. Медленно помотала головой.

— Вот тебе и ответ. Дар — это то, с чем рождаются. Повезло или не повезло. А то, что делаю я, — ремесло. Ему учатся. Как на кузнеца, как на швею. Долго, трудно, годами. Но выучиться может любой, у кого есть голова, руки и совесть. Голова у тебя есть. Руки — получше моих. А совесть — ты ночью сидела с тем мальчиком у часовни и держала его за руку, пока он не умер. Я видела.

Тэсса молчала. Игла замерла.

— Так это, — сказала она сипло, — я, стало быть... могу как ты?

— Лучше. Я начала в восемнадцать. Тебе четырнадцать.

Она нагнулась над шкурой так низко, что я видела только макушку. Шов, который она положила следующим, вышел кривой, как козья тропа.

Я сделала вид, что не заметила, как на свиное сало капает.

*

Кузницу Серого Кордона я нашла по звуку.

Мастера звали Хага, и первое, что я подумала, войдя: Брому наконец нашлась пара. Она была почти такой же ширины. Лет сорока пяти, с руками молотобойца, с седой косой, обмотанной вокруг головы, и с лицом, на котором навсегда застыло выражение «ну и чего тебе».

— Лекарка, — признала она. — Та, что дырки в головах вертит. Мой племяш Йорен — твоя работа?

— Моя.

— Дурак он, конечно, был — дураком и остался. Но живой. — Она сунула заготовку в бочку; зашипело. — Чего надо?

Я разложила на верстаке куски бересты. Я рисовала их три вечера — углём, по памяти, ругаясь на чём свет стоит: рисовальщица из меня всегда была никудышная.

— Вот это. Зажим — как щипцы, только губки тонкие и с насечкой, а на ручках — зубчики, чтобы защёлкивался и держал сам. Таких — шесть. Вот это — крючки, тупые, раздвигать рану. Это — ложка, маленькая, с острым краем. Это — кусачки: рабочая часть, как клюв, чтобы откусывать кость по крошке. И вот. — Я положила последний лист. — Это самое трудное. Сверло. Но не перо, как на коловороте, а венчик — полая трубка с зубьями по краю. Чтобы выпиливала из кости кружок. И с упором, вот тут: чтобы глубже, чем на толщину кости, уйти не могла.

Хага рассматривала рисунки долго. Вертела бересту так и эдак. Сопела.

— Сталь нужна добрая, — сказала она наконец. — Не подковная. Клинковая. А клинковую мне Ларш не даст, она вся на счету.

— Командор сказал...

— Знаю, что сказал командор. Ларш не откажет. Ларш скажет: «Всенепременно, сей же час» — и выпишет через месяц, к летнему обозу. — Она фыркнула. — Ладно. Есть у меня одна заначка. Меч покойного мужа. Хороший был меч. И муж был неплохой, да только мглецу всё едино. — Она провела ладонью по бересте, оставив сажный след. — Одно скажи, лекарка. Вот этими клювами да крючками... ты ведь будешь не только в солдат лазить?

Я не поняла.

Хага глянула на дверь — закрыта ли — и понизила голос:

— Я ж не слепая. Двадцать лет ему мечи правлю. Я по тому, как человек клинок берёт, скажу, где у него болит. У него левое плечо ниже стало. И замах короче — бережётся. — Она смотрела на меня в упор, тёмными, как окалина, глазами. — Он нас три года держит. На себе. Столица нас списала — думаешь, мы не понимаем? А он обходит стену каждую ночь и каждого щенка по имени знает. Так что ты мне скажи: тебе эти железки для него?

Я могла бы ответить «не понимаю, о чём вы». Врачебная тайна. Я обещала.

— Для того, кому они понадобятся, — сказала я.

Хага помолчала. Потом коротко кивнула.

— Через десять дней приходи. Сделаю так, что в столице обзавидуются.

*

Он пришёл в лазарет на исходе второй недели, заполночь.

Я сидела у очага и перебирала повязки. Лазарет спал. Дарен Ишвар, которого я не отпускала в казарму из чистой вредности — в казарме он немедленно начал бы пить и махать саблей, — спал тоже, закинув здоровую руку за голову.

Дверь открылась без стука. Он постоял на пороге, давая глазам привыкнуть. Потом прошёл к лежаку Дарена, посмотрел на перевязанную руку, на спокойное лицо.

— Пальцы?

— Все пять. — Я говорила шёпотом. — Чувствительность есть. Сила вернётся не сразу, месяца через три. На ситаре — к лету.

Он кивнул. И, вместо того чтобы уйти, подошёл к очагу и остановился по ту сторону огня.

— Мне сказали, ты вскрыла мглеца.

— Вскрыла.

— И?

Я подумала о тёплом камне, зашитом в мой тюфяк. Об отце Ансельме: «Никому».

— У него нет желудка, — сказала я. — Он убивает не ради еды. Больше пока ничего не скажу, командор. Не потому что прячу. Потому что сама не понимаю, что видела, а с непонятым к начальству не ходят.

— Разумно. — Он помолчал. — Сядь. Ты две недели на ногах.

— Вы тоже.

— Я сяду, если сядешь ты.

Это было так похоже на торг двух упрямых пациентов в очереди на перевязку, что я не удержалась — улыбнулась. Пододвинула ему чурбак. Он сел — как всегда, с прямой спиной, отставив ногу, — и некоторое время мы молча смотрели в огонь.

— Ты назвала меня идиотом, — сказал Райнар Хольт.

— Назвала.

— При гарнизоне.

— Я извинюсь, если хотите. Но мнения не изменю.

— Не хочу. — Угол его рта дрогнул. — Дарен говорит, это теперь любимая байка в казармах. «Выжженная командора идиотом обложила, а он заржал». Говорит, люди повеселели. Решили: раз командор смеётся, значит, перезимуем.

Он снял рукавицы, протянул руки к огню. Я смотрела на них: крупные, тёмные от ветра, в белых шрамах, с расплющенными костяшками. Руки, которые подали мне клещи рукоятью.

— Я хотел спросить тебя о другом, — проговорил он. — В ту ночь. Ты говорила слово. «Чёрный».

Я опустила глаза.

— Пятерым.

— Я знаю. Мне рассказали по-разному. Сержант Корбин — что ты бездушная тварь и отправила умирать человека, с которым он десять лет ел из одного котла. Ансельм — что ты единственная в этой крепости, кроме меня, кто понимает, сколько стоит одна жизнь. Потому что знаешь, сколько стоят три. — Он поднял на меня глаза. — Тебе снятся они? Те пятеро?

Никто никогда не задавал мне этого вопроса. Ни там, ни здесь. Там считалось, что хирург — это профессия, а у профессии снов не бывает.

— Усатый, — сказала я. — Он кивнул мне. Я ему солгала, что приду, а он кивнул. Лучше бы выругался.

— Его звали Томас Грир. Двадцать два года в строю. Жена и три дочери в Нижнем посаде. — Райнар говорил ровно. — Я помню каждого, кого послал туда, откуда не возвращаются.

Имена. Лица. Это не проходит, Таль. Я был бы рад сказать тебе, что проходит. Но тот, у кого проходит, не должен ни командовать, ни лечить.

Огонь потрескивал.

— Я делаю это каждый день, — сказал он тихо. — То, что ты назвала «сортировкой». Этот десяток — на стену, где прорвутся. Этот — в резерв. Этих — в дозор за первую версту, и я знаю, что из дозора вернутся не все. Я двадцать лет раскладываю людей на красных, жёлтых и чёрных. Просто у меня для этого не было слов. — Пауза. — Спасибо за слова.

Я не знала, что ответить. Поэтому сказала то, чего говорить не собиралась:

— Спасибо за сапоги.

Он нахмурился.

— Какие сапоги?

— Тёплые. На меху. В самый раз по ноге.

— Не понимаю, о чём ты.

— Разумеется.

Мы посмотрели друг на друга. И он — лорд-командор, Серый Волк, герой Южных перевалов — первым отвёл глаза. Мне показалось, что у него потемнели скулы, хотя, возможно, это был отсвет огня.

Вот теперь. Сейчас или никогда.

— Командор. Месяц ещё не прошёл, и я не спрашиваю, что вы обо мне решили. Но я спрошу о другом, и вы вправе выгнать меня за этот вопрос. Когда вы спрыгнули с галереи — у вас отнялась нога. Совсем. На сколько?

Он застыл.

— Это не твоё —

— Моё. Я лекарь этого гарнизона. Вы — его часть. Самая главная. На сколько?

Молчание. Долгое. Я ждала, что он встанет и уйдёт.

— До утра, — сказал Райнар Хольт. Глухо, в огонь. — Я не чувствовал её до утра. Дарен был под маком и не видел, как я полз до постели.

— А раньше так бывало?

— Нет. Так — впервые.

— Немеет только нога? Или... — Я подобрала слова. — Или ещё место, которым сидят в седле?

Он резко поднял голову. И я поняла, что да. И что об этом он не говорил никому, ни одной живой душе, даже Дарену.

— Откуда ты...

— Потому что я знаю, как это устроено. Там, в пояснице, где у вас шрам, проходит пучок — как конский хвост. Жилы, по которым воля идёт от головы к ногам. Что-то на него давит. Чем дальше — тем сильнее. Сначала стопа. Потом вся нога. Потом то место. Потом — вторая нога. — Я заставила себя договорить. — И потом вы перестанете чувствовать, когда вам надо по нужде. Это случится, командор. Не через десять лет. Скоро.

Он смотрел на меня. Лицо было неподвижно. Только на виске билась жила.

— Меня лечил лучший целитель империи.

— Вот именно, — сказала я. — Вот именно это меня и пугает.

Тишина сделалась такой, что слышно было, как в дальнем конце лазарета Вит бормочет во сне.

— Я ничего не утверждаю, — продолжала я. — Мне нужно посмотреть. Руками. Вашу спину, ваши ноги. Проверить, где вы чувствуете, где нет. Это не больно и не стыдно. Тогда я буду знать, а не гадать. И тогда скажу вам, можно ли что-то сделать.

— Что тут можно сделать?

— Не знаю. Может, ничего. — Я не стала ему врать; он бы услышал. — А может, достать то, что там сидит.

— Достать. — Он произнёс это очень тихо. — Ножом. Из хребта.

— Да.

Он встал. Движение вышло резким; он пошатнулся и схватился за столб, и я не двинулась с места, потому что знала: если сейчас подам ему руку — он не простит.

— Последний, кто лез ко мне в спину, — сказал Райнар, — клялся тем же, чем и ты. Что хочет помочь. У него было доброе лицо и лучшая слава в империи. Я проснулся через три недели и полгода учился ходить. А теперь ты — осуждённая, без дара, с чужими повадками и без единого ответа на вопрос, кто ты такая, — предлагаешь мне лечь под твой нож и говоришь «не знаю».

— Да.

— Назови мне хоть одну причину тебе поверить.

Я могла назвать Вита. Йорена. Тридцать шесть из тридцати семи.

— Не назову, — сказала я. — Причин верить мне у вас нет. Есть только одна причина, по которой вы всё-таки придёте. Не сегодня. Когда упадёте в следующий раз — и это будет не на лестнице ночью, а днём, на стене, при всех. Вы придёте, потому что вам некуда больше идти. А я буду здесь. С ножом, который к тому времени выкует Хага. И я не буду клясться, что хочу помочь. Я просто помогу.

Он стоял, держась за столб. Смотрел на меня сверху вниз. В серых глазах было что-то, чему я не могла подобрать названия: ярость, усталость, гордость — и под ними, на самом дне, то, что я видела на лестнице под двумя лунами.

— Доброй ночи, лекарка, — сказал он.

И вышел. Ровно. Прямо.

Дверь закрылась. Дарен Ишвар, не открывая глаз, произнёс с лежака совершенно трезвым голосом:

— Клянусь песками. За три года с ним так никто не говорил.

— Вы подслушивали.

— Я раненый. Мне скучно. — Он приоткрыл один чёрный глаз. — Он придёт. Он упрям, как северный баран, но не глуп. Только, госпожа лекарка... если он ляжет под ваш нож и не встанет — я вас убью. Ничего личного. Вы мне нравитесь, и я поставил на вас серебряный.

— Договорились, — сказала я. — Спите, капитан.

*

Тюремное платье я не выбросила — на Кордоне не выбрасывали ничего. Оно пошло на ветошь. В тот вечер, уже под утро, я села распарывать его на тряпки — руки требовали дела.

Подол. Бока. Ворот.

В вороте хрустнуло.

Я замерла. Полоска от мэтра Олдера была в подоле, я сама её туда спрятала и давно перепрятала. Это было другое.

Ворот был двойной, простроченный мелким, очень аккуратным стежком — не таким, каким шьют арестантское. Я подпорола его кончиком ножа.

Клочок тонкой ткани — батист, должно быть, от нижней рубашки. Буквы выведены чем-то бурым. Я не сразу поняла чем.

Кровью. Она писала кровью, щепкой, в камере. И зашила в ворот, на ощупь, в темноте.

Почерк был ученический, круглый. Мой — теперь мой.

«Нико, братик. Если это найдут на мне мёртвой — пусть отдадут тебе. Я не убивала Лиана. Он не болел. В нём росло то, что в нём растили — я видела руку, которая растила, я видела узел. Я хотела распустить, но не умею, я умею только смотреть. Всё записано.

Тетрадь там, где мы с тобой прятались от грозы, когда умерла мама. Не верь доброму. Не верь Веретену. Беги из Академии. Я тебя люблю. Л.»

Я сидела над клочком батиста, пока не догорела лучина.

Видела узел.

Чёрный камень в груди твари. Ожоги на моих ладонях. Невидимые знаки из света, которыми целители запечатывают плетение.

И мальчик девяти лет, в котором что-то *растили*.

За стеной светало. Где-то там, за тысячу вёрст отсюда, в столице, которой я никогда не видела, жил шестнадцатилетний мальчишка по имени Нико — и не знал, что сестра его мертва, а в её теле ходит чужая тётка из другого мира, которая дала слово.

— Я найду твою тетрадь, — сказала я вслух. — И твоего брата. Не знаю как. Но найду.

Ладони отозвались — не болью. Теплом.

Глава 7. Зрячая

Сержант Корбин пришёл ко мне на двадцатый день.

Я хорошо его помнила: бешеные глаза, перебитый нос, «сука столичная». С той ночи он обходил лазарет по другой стороне двора, а встретив меня, сплёвывал под ноги — не в меня, но так, чтобы я видела. Томас Грир, усатый, был его другом. Десять лет из одного котла.

Теперь сержант стоял на пороге, комкал шапку, и лицо у него было серое.

— Лекарка, — сказал он. И замолчал. У него дёргался кадык.

Я ждала.

— Сестра у меня. В Нижнем посаде. Мельникова жена. Рожает. Вторые сутки. — Он выталкивал слова, как камни. — Повитуха говорит — поперёк лежит. Говорит — режь, не режь, а не разродится. Попа велела звать. Я к командору, он говорит: за стену без нужды не пускаю, но ежели лекарка согласится — дам десяток в провожатые. Ежели... согласится.

Он поднял на меня глаза. В них стояло то самое, что стоит в глазах у всех, кто когда-либо ждал под дверью операционной, — и никакой гордости там уже не оставалось.

— Я тебя сукой назвал. При людях. И за Тома я тебя... Я знаю, что ты можешь меня послать. Я б послал.

Вера Андреевна, сказала я себе. *Ты нейрохирург. Последние роды ты видела на шестом курсе, двадцать лет назад, с задней парты, и тебе тогда стало дурно. Поперечное положение плода — это кесарево. Кесарево сечение здесь — без наркоза, без крови, на кухонном столе в избе — это смерть матери в девяти случаях из десяти.*

Ты ничего не сможешь.

— Тэсса! — крикнула я. — Сумку. Ножи, иглы, полотно, жжёнку, мак. Бром, ты за старшего. Сержант, чего стоите? Седлайте.

*

Нижний посад лежал в двух верстах под крепостью: три десятка дворов, мельница на незамерзающей речке, частокол. За стенами я оказалась впервые и, пока мы спускались по обледенелой дороге — я позади Корбина на его коренастом мерине, вцепившись в сержантский пояс, — всё оглядывалась на север. Туман стоял далеко, смирно. Но спиной я его чувствовала.

В избе мельника было натоплено до дурноты и полно народу: бабы, старухи, чьи-то дети. Пахло потом, воском и кровью. Под образом Пряхи — деревянной женщиной с веретеном — горели три свечи.

— Все вон, — сказала я с порога. — Кроме повитухи. Воду — кипятить. Окно — открыть.

— Простудишь роженицу! — взвилась какая-то бабка.

— Она у вас сейчас от духоты умрёт раньше, чем от родов. Сержант!

Корбин молча вымел избу, как веником. Осталась одна — сухонькая, древняя, с лицом как печёное яблоко и неожиданно молодыми, цепкими глазами.

— Марта, — сказала она. — Сорок лет бабничаю. Приняла весь посад и пол-гарнизона, кто здешний. — Она оглядела меня без почтения. — А ты, слыхала, головы сверлишь. Тут не голова, девка. Тут другое место.

— Знаю. Потому вы и остались. Рассказывайте.

Она рассказала — коротко, толково, как докладывает хорошая акушерка. Третьи роды. Воды отошли вчера на заре. Схватки шли-шли и ослабли. Дитя лежит поперёк, головка справа, ручка — она щупала — уже норовит выпасть. Поворот на ножку пробовала дважды: не идёт, тесно, матка зажала.

— Я ей сказала, как есть, — закончила Марта. — Тут либо дитя по кускам доставать — и то, глядишь, мать помрёт от горячки, — либо уж обоих Пряхе.

Роженица лежала на лавке. Молодая, крупная, красивая баба с Корбиновым перебитым — нет, просто фамильным — носом. Мокрые волосы прилипли ко лбу. Она была за той гранью усталости, где уже не кричат.

— Как тебя зовут? — Я вымыла руки, села рядом.

— Ильза...

— Ильза, я Вера... — Я прикусила язык. — Я лекарка из крепости. Я сейчас буду трогать твой живот. Постарайся дышать.

Я положила ладони ей на живот.

Я хотела просто нащупать — головку, спинку, как учили на той давней, забытой, проспанной кафедре. Приёмы Леопольда. Первый, второй...

Ладони обожгло.

Не болью — жаром. Он хлынул из рубцов, из самой их середины, вверх по рукам, в плечи, в затылок, за глаза —

и я увидела.

*

Это не было похоже на зрение.

Это было похоже на то, как смотришь в тёмную воду — и вдруг кто-то включает под ней свет. Кожа под моими руками не исчезла; она стала стеклом. Под ней — слой жёлтого, слой красного, упругая, толстая, медленно сокращающаяся стена. А за стеной —

Он лежал поперёк. Свернувшись, поджав колени, спинкой вверх. Крупный. Головка — справа, упёртая в крыло таза. Левая ручка вытянута вниз, в родовые пути, кулачок сжат.

Я видела его позвоночник — нитку бус. Видела рёбрышки. Видела, как под ними часто-часто, как птица в горсти, бьётся что-то размером с грецкий орех.

Живой.

И пуповину — толстый перевитой канат. Она шла от его живота вверх... и дважды, тугой петлёй, вокруг шеи.

Я смотрела на это, и где-то очень далеко моё собственное тело забыло дышать.

Мне было знакомо это зрение. Не по этому миру — по тому. Пятнадцать лет я глядела на чёрно-белые срезы на экране: КТ, МРТ, слой за слоем, и достраивала в голове объём. Я умела видеть человека насквозь — в воображении, по снимкам.

А здесь не нужно было воображать. Здесь это просто было. Живое, цветное, тёплое, в движении. Мечта любого хирурга. То, за что любой из нас отдал бы десять лет жизни.

«Ты ведь видишь? Не кожу. То, что под кожей».

Так вот что ты умела, девочка. Вот за что жгут.

— Чего там? — Голос Марты донёсся как из-под воды. — Девка, ты чего застыла? Эй!

— Он живой, — сказала я. Губы были как чужие. — Сердце бьётся. Часто, но ровно. Пуповина дважды вокруг шеи. Если тянуть за ножку — затянет.

Тишина.

— Откель знаешь? — очень тихо спросила повитуха.

— Знаю. Марта. Слушайте меня. Поворот — не внутри, а снаружи, через живот. Вы давите на ягодицы, вот здесь — вверх и влево. Я — на головку, вниз. Между схватками, когда стенка мягкая. Он сдвинется — я увижу.

— Наружный не пойдёт, воды сошли...

— Не все. Там за спинкой ещё осталось. Немного. Хватит.

Она смотрела на меня. На мои руки. Потом — в лицо, и её молодые глаза на печёном лице расширились. Она что-то увидела. Но сказала только:

— Ну, Мать-Пряха, благослови. Командуй.

Я не знаю, сколько мы это делали. Может, четверть часа. Может, час.

«Давите. Ещё. Стойте — схватка. Ждём. Ильза, дыши, дыши, милая, не тужься. Отпустило. Давите. Он идёт... нет, упёрся. Плечо. Марта, чуть ниже руку. Вот так».

Я видела всё. Как маленькое тело нехотя, медленно, по волоску поворачивается в тесноте. Как головка сползает с тазовой кости. Как пуповина натягивается — «стоп!» — и я сдвигала ладонь, меняла угол, и петля ослабевала. Я видела, как вытянутая ручка втягивается обратно, как кулачок уходит к подбородку.

И как головка — наконец, со вздохом, который я ощутила всем телом, — встаёт куда надо. Вниз. Во вход.

— Есть, — выдохнула Марта. Она щупала — и не верила собственным рукам. — Головкой стал. Ох, девка...

— Теперь рожаем. Ильза! Слышишь меня? Самое трудное позади. Теперь на схватку — тужься, как никогда в жизни!

Сил у неё не было. Сил не было совсем. Но женщины — это я знала ещё по той жизни — берут их из ниоткуда.

Он родился на шестой потуге. Синий. Молчащий. С пуповиной на шее, которую Марта сдёрнула одним ловким, сорокалетней выучки движением.

Тишина.

Младенец лежал у меня на руках, как тряпочка. Не дышал.

Сердце. Я смотрела сквозь него: орех бился. Редко. Раз... раз... Но бился.

Я перевернула его лицом вниз, на ладонь. Пальцем — в рот, выгребла слизь. Растёрла спинку, жёстко, полотенцем. Щёлкнула по пяткам.

Ничего.

Тогда я накрыла губами его рот и нос — крошечные, холодные — и вдохнула. Чуть-чуть. Столько воздуха, сколько помещается за щеками. Ещё раз. Ещё.

Я видела, как внутри, за рёбрышками, расправляются два слипшихся серых комочка. Розовеют. Раскрываются, как крылья.

Он дёрнулся. Сморщился. И заорал — хрипло, возмущённо, на всю избу, на весь посад, на весь этот невозможный мир с двумя лунами.

Марта перекрестилась бы, если бы здесь крестились. Она завязала у лба узелок, и руки у неё тряслись.

— Мальчик, — сказала я. — Ильза, у тебя мальчик. Здоровенный. Крикун.

Положила его матери на грудь. Выпрямилась.

И мир накренился.

*

Очнулась я на полу. Надо мной висели два лица — Тэссино и Мартино. По губам текло тёплое, солёное.

— Кровь носом, — деловито сообщила Тэсса. Она прижимала к моему лицу тряпку. — Много. И ты белая, как стенка. Лежи.

Голову ломило так, словно в ней побывал мой собственный коловорот. За глазами пульсировало. Ладони горели.

— Ильза?..

— Послед вышел, крови мало, дитя сосёт, — отрапортовала Марта. — Лежи, сказано.

Она опустилась рядом, кряхтя. Долго глядела на меня. Потом покосилась на дверь, на роженицу — та дремала, прижав к себе младенца, — и сказала почти беззвучно:

— У тебя глаза светились.

Я молчала.

— Серебром. Как вода под луной. Я видала такое раз в жизни — девчонкой, у бабки своей. Она тоже... глядела. Положит руку на брюхо и скажет: двойня, один мёртвый. Или: у

тебя, кума, камень в боку, пей хвощ. — Марта перевела дыхание. — Мать меня била, чтоб я про то молчала. А бабку, как помирала, велела хоронить ночью и без попа. Чтоб не дознались.

— Чего не дознались?

— Что зрячая.

Слово упало в тишину избы, как камень в колодец.

— Их двести лет как пожгли, — шептала Марта. — Всех. По всей империи. Орден Безмолвных ездил по сёлам с целителями из Гильдии: целитель ладонь к темени приложит — и коли ты зрячая, у тебя глаза серебром пойдут, не утаишь. И на костёр. С детьми. Говорили — это они Пустошь накликали. Глядели, куда человеку глядеть не положено, в самое нутро Пряхиной пряжи, вот пряжа и порвалась, и из дыры полезло. — Она сплюнула через плечо. — Так в храме учат. А бабка моя говорила иначе.

— Как?

— Говорила: зрячих пожгли не за то, что глядели. А за то, что *увидали*. — Старуха пожала острыми плечами. — А что увидали — того она не знала. Или не сказала. Мне седьмой год шёл.

Тэсса сидела рядом, обхватив колени, и смотрела на меня так, как смотрела в ту ночь у ледника: на мои руки.

— Я знала, — сказала она вдруг. — Ещё когда ты Вита резала. Ты не щупала, где чёрное кончается. Ты сразу знала, где резать. Я думала — показалось.

— Тэсса. Я тогда не видела. Клянусь. Я просто знаю, как устроена нога.

— А сейчас?

— А сейчас увидела. Впервые. — Я села, преодолевая дурноту. — И я понятия не имею, как это вышло и получится ли снова.

Я лгала лишь наполовину. Как вышло — я не знала. Но почему именно сейчас — догадывалась. Двадцать дней я кормила это тело, давала ему спать, грела. Двадцать дней заживало то, что в нём выжгли.

Он не выжег. Не сумел — или не успел. Он поставил замок. А замки ржавеют.

— Марта, — сказала я. — Тэсса. Вы обе понимаете, что будет, если хоть одна душа...

— Не учи учёную. — Повитуха поднялась. — Я сорок лет молчу про бабку — и про тебя помолчу. Ты мне сегодня двоих с того света достала. А ты, пигалица?

— Могила, — сказала Тэсса Бромовым басом.

Марта помогла мне встать. Усадила на лавку, сунула в руки кружку — горячее молоко с мёдом.

— Одно тебе скажу, девка, а ты запомни. Бабка моя глядела редко. По большой нужде. Потому как после — вот так же, кровь носом и три дня пластом. А один раз, сказывала, глядела долго, на мужика, которого деревом придавило, — так у ней потом волос поседел и рука отнялась на месяц. Это тебе не свечку зажечь. Оно тебя жрёт. — Она ткнула мне в грудь сухим пальцем. — Гляди, да меру знай. Не то выгоришь уже взаправду.

*

Обратно ехали в сумерках.

Корбин молчал всю дорогу от посада. Когда я вышла на крыльцо и сказала: «Сестра жива. Племянник — крикун, весь в дядю», — он ничего не ответил. Отвернулся к коновязи и долго, очень долго поправлял подпругу, которая в том не нуждалась.

Теперь я сидела у него за спиной, держась за пояс, и клевала носом. Десяток ехал вокруг, и Тэсса — на крупе у молоденького конопатого солдата — без умолку рассказывала тому, как надо правильно вязать хирургический узел.

— Лекарка, — произнёс Корбин, не оборачиваясь.

— Мм?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.